

БИБЛИОТЕКА

ОГОНЁК

МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 7 1991



Лидия ЧУКОВСКАЯ

С В Е Р С Т Н И К У

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 7

Издается с января 1925 года

Лидия ЧУКОВСКАЯ

СВЕРСТНИКУ

Москва. 1991

Лидия ЧУКОВСКАЯ

Лидия Корнеевна Чуковская (1907 года рождения) — прозаик, литературный критик, поэт. Пожалуй, только в последнее время мы получили возможность в полной мере познакомиться с творчеством этого писателя. Созданная в конце тридцатых годов повесть «Софья Петровна», рассказывающая о репрессиях тридцать седьмого, грозила автору суровой карой — подобные книги система не прощала. К счастью, охране не удалось до нее добраться. В пятидесятые годы Лидия Чуковская была активно печатающимся критиком, ее книга «Лаборатория редактора» выдержала два издания. Тогда же началась правозащитная деятельность Чуковской. Ее открытые письма, имевшие широкое хождение в самиздате, будили в нас совесть, вызывая одновременно чувство восхищения и преклонения перед этой удивительной женщиной.

Основные произведения Лидии Чуковской были опубликованы впервые за рубежом — «Софья Петровна» («Новый журнал», 1966 г.), «Спуск под воду», «Записки об Анне Ахматовой» (1 и 2-й тома). Начиная с 1988 года книги Чуковской выходят и в нашей стране — «Повести», «Памяти детства», «Процесс исключения». Появляются в печати и стихотворения (журнал «Горизонт»). «Сверстнику» — так называется стихотворение, опубликованное в «Новом мире» и давшее название настоящему сборнику. Его герой прошел и школьные годы, и войну, и блокаду, и тридцать седьмой. «Когда меня спрашивают, кого персонально я имела в виду, я говорю — у меня не было такого друга. Речь идет о трагической судьбе поколения».

Движением «Апрель» учреждена премия имени Андрея Амфиловича Сахарова. Называется она — «За гражданское мужество». Первый лауреат этой премии — Лидия Чуковская.

Рукопись предоставлена движением
«Писатели в поддержку перестройки» — «А П Р Е Л Ь»

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

В Правление Ростовского отделения Союза писателей

В Правление Союза писателей РСФСР

В Правление Союза писателей СССР

В редакцию газеты «Правда»

В редакцию газеты «Известия»

В редакцию газеты «Молот»

В редакцию газеты «Литературная Россия»

В редакцию «Литературной газеты»

Михаилу ШОЛОХОВУ,
АВТОРУ «ТИХОГО ДОНА»

Выступая на XXIII съезде партии, Вы, Михаил Александрович, поднялись на трибуну не как частное лицо, а как «представитель советской литературы».

Тем самым Вы дали право каждому литератору, в том числе и мне, произнести свое суждение о тех мыслях, которые были высказаны Вами будто бы от нашего общего имени.

Речь Вашу на съезде воистину можно назвать исторической.

За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок.

Но огорчил Вас не один лишь приговор: Вам пришлось не по душе самая судебная процедура, которой были подвергнуты писатели Даниэль и Синявский. Вы нашли ее слишком педантичной, слишком строго законной. Вам хотелось бы, чтобы судьи судили советских граждан, не стесняя себя кодексом, чтобы руководствовались они не законами, а «революционным правосознанием».

Этот призыв ошеломил меня, и я имею основание думать, не одну меня. Миллионами невинных жизней заплатил наш народ за сталинское попрание закона. Настойчивые попытки возвратиться к законности, к точному соблюдению духа и буквы советского законодательства, успешность этих попыток — самое драгоценное завоевание нашей стра-

ны, сделанное ею за последнее десятилетие. И именно это завоевание Вы хотите у народа отнять? Правда, в своей речи на съезде Вы поставили перед судьями в качестве образца не то, сравнительно недавнее время, когда происходили массовые нарушения советских законов, а то, более далекое, когда и самый закон, самый кодекс еще не родился: «памятные двадцатые годы». Первый советский кодекс был введен в действие в 1922 году. Годы 1917—1922 памятны нам героизмом, величием, но законностью они не отличались, да и не могли отличаться: старый строй был разрушен, новый еще не окреп. Обычай, принятый тогда: судить на основе «правосознания» — был уместен и естественен в пору гражданской войны, на другой день после революции, но он ничем не может быть оправдан накануне 50-летия Советской власти. Кому и для чего это нужно — возвращаться к «правосознанию», т. е., по сути дела, к инстинкту, когда выработан закон?

И кого в первую очередь мечтаете Вы осудить этим особо суровым, не опирающимся на статьи кодекса, судом, который осуществлялся в «памятные 20-е годы»? Прежде всего литераторов...

Давно уже в своих статьях и публичных речах Вы, Михаил Александрович, имете обыкновение отзываться о писателях с пренебрежением и грубой насмешкой. Но на этот раз Вы превзошли самого себя. Приговор двум интеллигентным людям, двум литераторам, не отличающимся крепким здоровьем, к пяти и семи годам заключения в лагерях со строгим режимом, для принудительного, непосильного физического труда — т. е., в сущности, приговор к болезни, а может быть, и к смерти, представляется Вам недостаточно суровым. Суд, который осудил бы их не по статьям Уголовного кодекса, без этих самых статей — побыстрее, попроще — избрал бы, полагаете Вы, более тяжкое наказание, и Вы были бы этому рады.

Вот Ваши подлинные слова:

«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о «суровости приговора».

Да, Михаил Александрович, вместе со многими коммунистами Италии, Франции, Англии, Норвегии, Швеции, Дании (которых в своей речи Вы почему-то именуете «буржуазными защитниками» осужденных), вместе с левыми общественными организациями Запада я, советская писательница, рассуждаю, осмеливаюсь рассуждать о неуместной, ничем не оправданной суровости приговора. Вы в своей речи сказали, что Вам стыдно за тех, кто хлопотал о помиловании, предлагая взять осужденных на поруки. А мне, признаться, стыдно не за них, не за себя, а за Вас. Они просьбой своей продолжили славную традицию советской и досоветской русской литературы, а Вы своей речью навеки отлучили себя от этой традиции.

Именно в «памятные годы», т. е. с 1917 по 1922, когда бушевала гражданская война и судили по «правосознанию», Алексей Максимович Горький употреблял всю силу своего авторитета не только на то, чтобы спасти писателей от голода и холода, но и на то, чтобы выручать их из тюрем и ссылок. Десятки заступнических писем были написаны им, и многие литераторы вернулись, благодаря ему, к своим рабочим столам.

Традиция эта — традиция заступничества — существует в России не со вчерашнего дня, и наша интеллигенция вправе ею гордиться. Величайший из наших поэтов, Александр Пушкин, гордился тем, что «милость к падшим призывал». Чехов в письме к Суворину, который осмелился в своей газете чернить Золя, защищавшего Дрейфуса, объяснял ему: «Пусть Дрейфус виноват — и Золя все-таки прав, так как дело писателей не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание... Обвинителей, прокуроров... и без них много».

Дело писателей не преследовать, а вступаться...

Вот чему нас учит великая русская литература в лице лучших своих представителей. Вот какую традицию нарушили Вы, громко сожалея о том, чтобы приговор суда был недостаточно суров.

Вдумайтесь в значение русской литературы.

Книги, созданные великими русскими писателями, учили и учат людей не упрощенно, а глубоко и тонко, во всеоружии социального и психологического анализа, вникать в сложные причины человеческих ошибок, проступков, преступлений, вин. В этой проникновенности и кроется, главным образом, очеловечивающий смысл русской литературы.

Вспомните книгу Федора Достоевского о каторге — «Записки из Мертвого дома», книгу Льва Толстого о тюрьме — «Воскресение». Оба писателя страстно всматривались в глубь человеческих судеб, человеческих душ и социальных условий. Не для дополнительного осуждения осужденных совершил Чехов свою героическую поездку на Сахалин, и глубокой оказалась его книга. Вспомните, наконец, «Тихий Дон»: с какой осторожностью, с какой глубиной понимания огромных сдвигов, происходивших в стране, мельчайших движений потрясенной человеческой души относится автор к ошибкам, проступкам и даже преступлениям против революции, совершаемым его героями! От автора «Тихого Дона» удивительно было услышать грубо прямолинейный вопрос, превращающий сложную жизненную ситуацию в простую, элементарнейшую, — вопрос, с которым Вы обратились к делегатам Советской Армии: «Как бы они поступили, если бы в каком-нибудь подразделении появились предатели?» Это уже прямо призыв к военно-полевому суду в мирное время. Какой мог бы быть ответ воинов, кроме одного: расстреляли бы. Зачем, в самом деле, обдумывать, какую именно статью Уголовного кодекса нарушили Синявский и Даниэль, зачем пытаться представить себе, какие именно стороны нашей недавней социальной действительности подверглись сатирическому изображению в их книгах, какие собы-

тия побудили их взяться за перо и какие свойства нашей теперешней современной действительности не позволили им напечатать свои книги дома? Зачем тут психологический и социальный анализ? К стенке! Расстрелять в 24 часа!

Слушая Вас, можно было вообразить, будто осужденные распристранили антисоветские листовки или прокламации, будто они передавали за границу не свою беллетристику, а, по крайней мере, план крепости или завода... Этой подменной сложных понятий простыми, этой недостойной игрой словом «предательство», Вы, Михаил Александрович, еще раз изменили долгу писателя, чья обязанность — всегда и везде разъяснять, доводить до сознания каждого всю многосложность, противоречивость процессов, совершающихся в литературе и в истории, а не играть словами, злостно и намеренно упрощая, и, тем самым искажая, случившееся.

Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом. С Вашей точки зрения, в этом его недостаток, с моей — достоинство. И, однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом.

Почему?

Потому, что сама отдача под уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.

Потому, что книга — беллетристика, повесть, роман, рассказ — словом, литературное произведение, слабое или сильное, лживое или правдивое, талантливое или бездарное, есть явление общественной мысли и никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за любой проступок — только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы и лагеря.

Вот это Вы и должны были заявить своим слушателям, если бы Вы, в самом деле, поднялись на трибуну как представитель советской литературы.

Но Вы держали речь как отступник ее. Ваша позорная речь не будет забыта историей.

А литература сама Вам отомстит за себя, как мстит она всем, кто отступает от налагаемого ею трудного долга. Она приговорит Вас к высшей мере наказания, существующей для художника, — к творческому бесплодию. И никакие почести, деньги, отечественные и международные премии не отвратят этот приговор от Вашей головы.

25 мая 1966 года

НЕ КАЗНЬ, НО МЫСЛЬ, НО СЛОВО

(К 15-летию со дня смерти Сталина)

В наши дни один за другим следуют судебные процессы: под разными предложениями — открыто, прикрыто и полуприкрыто — судят слово, устное и письменное; судят книги, написанные дома и напечатанные за границей; судят журнал, напечатанный на родине, но не в типографии; судят сборник документов, изобличающий беззаконие суда; судят выкрик на площади в защиту арестованных. Слово подвергают гонению как бы для того, чтобы еще раз подтвердить старую истину, полюбившуюся Льву Толстому: «Слово — это поступок». Наверное, слово и в самом деле поступок, и притом сокрушительный, если за него дают годы тюрьмы, и лагеря, если целыми годами, а то и десятилетиями, не в силах пробиться в свет, к читателю, великая поэзия и великая проза — романы, поэмы, стихи, повести, — насущно необходимые каждому. Я бы сказала: необходимые как хлеб, но на самом деле своей пронзительной правдой они нужнее, чем хлеб. И быть может, потому, что слово истины не в силах прозвучать, сделаться книгой, а через книгу и душой человеческой, что оно насильственно загнано внутрь, остановлено — быть может, потому с такой остротой ощущаешь искусственность, фальшивость, натянутость иных напечатанных, легко достигающих читателя слов.

Попалось мне недавно в журнале одно маленькое стихотворение. Оно сильно задело меня. Незначительное само по себе, оно выражает строй мыслей и чувств, весьма распространенных сегодня, и при этом глубоко ложных.

Начинается оно тревожащим сердце вопросом:

Несчетный счет минувших дней
Неужто не оплачен?

а кончается утешающим выводом:

И он с лихвой, тот длинный счет,
Оплачен и оплакан.

Утешительность вывода — она-то и задела меня. Меньше всего нужны нам сейчас утешения и больше всего разбор прошлого. бередящий память и совесть... Если поверить автору, в нашем нравственном балансе, после всего пережитого все, слава Богу, обстоит благополучно: концы сведены с концами. О чем же еще говорить?

А говорить есть о чем. Отношением к сталинскому периоду нашей истории, вцепившемуся когтями в наше настоящее, определяется сейчас человеческое достоинство писателя и плодотворность его работы.

Бывают счета неотвратимые — и в то же время неоплатные. Писать об оплаченном счете, когда речь идет о нашем недавнем прошлом, — кощунство. По какому это преysкранту могут быть оплачены Норильск и Потьма, Караганда и Магадан, подвалы Лубянки и Шпалерной? Как и чем оплатить муки и гибель каждого из невинных — а их были миллионы! — по ч е м с г о л о в ы? И кто имеет право сказать: счет оплачен? Пожалуй, уж лучше бы нам не браться за счета! Оплатить т а к о й счет — это вообще никому не под силу по той простой причине, что человечество не научилось воскрешать мертвых.

А кто оплатит обманутую веру людей в заветные пять слов: «У нас зря не посадят?», веру: если Иваны Денисовичи сидят за решеткой — стало быть, они в самом деле враги. Надо сознаться, великолепно работала в прошлом машина провокации — радио, собрания, газеты, — столь четко и бесперебойно, что, случалось, даже честные люди становились ожесточенными гонителями невинных. Жены отрекались от мужей, дети от отцов, друзья от лучших товарищей. Ведь они, эти обманутые, тоже в своем роде жертвы... Жертвы организованной лжи. Не применимы ли к ним слова, сказанные о других временах:

— Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Чем же оплатить массовое, организованное душевредительство, разврат пера, распутство слова? Казалось бы, если и можно, то только одним: полнотой, откровенностью правды. Но правда оборвана на полуслове, сталинские палачества вновь искусно прикрываются завесой тумана. Она плотнеет у нас на глазах.

Жажда самой простой элементарной справедливости осталась неутоленной. Вдовам погибших выданы справки, что мужья их были арестованы понапрасну, и посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Хорошо. Такие же справки — об отсутствии состава — выданы тем из заключенных, кому посчастливилось уцелеть. Отлично. Они вернулись. Но где же те, кто был причиной всего пережитого? Те, кто фабриковал одну за другой фантастические повести под названием «следственное дело»? Те, кто давал приказ чернить осужденных в газетах? Кто эти люди, где они и чем заняты сегодня? Кто, когда, где подсчитал их преступления, совершавшиеся обеспеченно, спокойно, методически — изо дня в день, из года в год? И им, этим преступникам, какие и кем выданы справки?

Видимо, — никем, никакие, иначе не случилось бы, что изданием стихов ведает человек, повинный в гибели поэтов; что на торжественном заседании в президиуме красуется писатель, который писал преимущественно доносы; что пенсию за труды праведные получает седовласый, почтенный старец, в прошлом — губитель Вавилова или Мейерхольда... Туман, туман!

Счет оплакан, говорится в стихотворении. Правда, пролились океаны слез. Но лились они украдкой, в подушки... День железнодорожника, День летчика, День танкиста — а где же День Траура по невинно замученным? Где братские могилы, памятник с именами погибших, кладбища, куда родные и друзья могут в поминальный день приходить открыто плакать с венками и букетами цветов? Где, наконец, списки тех, кто заказывал доносы, тех, кто исполнял эти заказы, тех, кто... но довольно. Над могилами уместны тишина и скорбь.

Нет, не об отмщении речь, я не предлагаю зуб за зуб. Месть не прельщает меня. Я не об уголовном, а об общественном суде говорю. Потому, что хотя доносчики, палачи, провокаторы вполне заслужили казнь, но народ наш не заслужил, чтобы его питали казнями.

Пусть из гибели невинных вырастет не новая казнь, а ясная мысль. Точное слово.

Я хочу, чтобы винтик за винтиком была исследована машина, которая превращала полного жизни, цветущего деятельностью человека в холодный труп. Чтобы ей был вынесен приговор. Во весь голос. Не перечеркнуть надо счет, поставив на нем успокоительный штемпель «уплачено», а распутать клубок причин и следствий серьезно и тщательно, петля за петлей, его разобрать... Миллионы крестьянских семей, тружеников, выгнанных на гибель, на Север, под рубриками «кулаки» и «подкулачники». Миллионы горожан, отправленных в тюрьмы, в лагерь, а иногда и прямо на тот свет под рубриками «шпионы», «диверсанты», «вредители». Целые народы, обвиненные в измене и выгнанные с родных мест на чужбину.

Что привело нас к этой небывалой беде? К этой совершенной беззащитности людей перед набросившейся на них машиной? К этому невиданному в истории слиянию, сплаву, сращению органов государственной безопасности (ежеминутно, денно и ночью, нарушавших закон) с органами прокуратуры, существующей, чтобы блюсти закон (и угодливо ослепшей на целые годы), — и, наконец, с газетами, призванными защищать справедливость, но вместо этого планомерно, механизированно, однообразно извергавшими клевету на гонимых, — миллионы миллионов лживых слов о ныне разоблаченных матерых подлых врагах народа, продавшихся иностранным разведкам? Когда и как оно совершилось, это соединение, несомненно, самое опасное из всех химических соединений, ведомых ученым? Почему оно стало возможным? Тут огромная работа для историка, для философа, для социолога. А прежде всего для писателя. Это главная сегодняшняя работа, и притом безотлагательная. Срочная. Надо звать людей, старых и молодых, на смелый труд осознания прошедшего, тогда и пути в будущее станут ясней. И нынешние суды над словом не состоялись бы, если бы эта работа оказалась сделанной вовремя.

Убийство правдивого слова, оно ведь тоже идет оттуда, из сталинских океанных времен. И было одним из самых черных злодейств, совершаемых десятилетиями. Утрата права на самостоятельную мысль затворила в сталинские времена дверь для сомнения, вопроса, вопля тревоги и отворила ее для самоуверенной, себя не стыдящейся

многотиражной и многорупорной лжи. Ежечасно повторяемая ложь мешала людям узнать, что творится в их родной стране с их согражданами, — одни не знали простодушно, по наивности, другие оттого, что им очень уж не хотелось знать. Тот же, кто знал или догадывался, тот обречен был молчать под страхом завтрашней гибели — не каких-нибудь там неприятностей по службе, безработицы или нужды, а обыкновенного физического истребления.

Вот какой великий почет был в ту пору оказан слову: за него убивали.

...На могилах погибших, сказала я, должна вырасти не новая казнь, не казнь их губителей, а ясная мысль. Какая же? Может быть, эта —

Уж раз мы выжили...

Ну что ж,

Судите, виноваты!

Все наше: истина и ложь,

Победы и утраты,

И срам, и горечь, и почет,

И мрак, и свет из мрака...

Нет, не эта. Рассуждение соблазнительное, но принять его нельзя. Оно служит запутыванию клубка, а не попытке его распутать. Истина и ложь не близнецы, и никому не удавалось быть мраком и светом сразу. В каждом конкретном жизненном положении кто-то светил, а кто-то гасил свет. И хуже: кто-то был злодеем, а кто-то жертвой.

Мы были молоды, горды,

А молодость — из стали,

И не было такой беды,

Чтоб мы не устояли,

И не было такой войны,

Чтоб мы не победили.

И нет теперь такой вины,

Чтоб нам не предъявили.

Здесь две неправды. Во-первых, такая беда, перед которой мы не устояли и от которой не спасли страну, была. Имя ей — сталинщина. Это раз. Что же касается вин, которые теперь будто бы кто-то где-то кому-то предъявляет, то хотелось бы знать: кто, где и кому? О винах, предъявленных сегодня нашему вчера, что-то не слыхать... Приняли, подхватили:

Да, все, что с нами было, —
Было!

И глубже ни шагу.

А между тем изо всего, что «с нами было — было», естественно, растет ясная, простая мысль. Она известна всем с изначальных времен, но

нам придется воспринять и усвоить ее заново Столетие назад Герцен изо дня в день повторял ее в «Колоколе» без свободного слова нет свободных людей, без независимого слова нет могучей, способной к внутренним преобразованиям страны. «Громкая, открытая речь одна может удовлетворить человека», — писал Герцен «Только выговоренное убеждение свято». — писал Огарев Молчание же для них — синоним рабства, «склонение головы». Герцен писал о «сообщничестве молчанием». «Немота поддерживает деспотизм»

Судебные процессы последних лет — и последних месяцев — вызвали среди людей разных возрастов, разных профессий громкий отпор В нетерпимости к сегодняшним нарушениям закона сказывается накопившееся негодование людей против самих себя, какими они были вчера, и против вчерашних тисков. За молодыми плечами нынешних подсудимых нам, старшим, видятся вереницы теней. За строчками рукописи, достойной печати и не идущей в печать, нам мерещатся лица писателей, не доживших до превращения своих рукописей в книги. А за сегодняшними газетными статьями — те, вчерашние, улюлюкающие вестники казней.

«Освобождение слова от цензуры» — таков был один из девизов «Колокола». В последний раз «Колокол» вышел сто лет назад — в 1868 году. Столетие! С тех пор цензура сделалась менее зримой, но всепроникающей. Она располагает десятками способов, не прибегая к красному карандашу, живо схоронить неудобную рукопись.

Пусть же сбудется освобождение слова от всех кандалов, как бы они ни назывались. Пусть сгинет немота — она всегда поддерживала деспотизм.

А память пусть останется вечной, неистребимой, вопреки будто бы оплаченному счету. Память — драгоценное сокровище человека, без нее не может быть ни совести, ни чести, ни работы ума. Большой поэт — сам воплощенная память. Приведу строки того поэта, который не пожелал расстаться с памятью не только при жизни, но и за порогом смерти.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забуть громыхание черных марусь,
Забуть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь

Память о прошлом — надежный ключ к настоящему Перечеркнуть счет, дать прошедшему зарастить бурьяном путаницы, недомолвок, недомыслов? Никогда!

Впрочем, если бы нам и изменила память, сегодняшние суды над

словом и сухой треск газетных статей донесли бы до нас знакомый запах прошлого утара.

Но сегодня — это сегодня, не вчера. «Сообщничество молчанием» кончилось.

Февраль 1968 года

ГНЕВ НАРОДА

...Москва. 1958 1 ноября. Пастернак только что получил Нобелевскую премию по литературе. Писатели исключили его из Союза. На страницы газет хлынули письма трудящихся. «Правильное решение». «Лягушка в болоте». Эскаваторщики, нефтяники, инженеры, учителя, слесаря.

Я — в такси. За рулем нескладный мальчик лет девятнадцати. Узкоплечий, узоколицый, малорослый, только руки, крутящие баранку, огромны.

Я сижу рядом с ним, а между нами, на сиденье, газета. Думать я могу только о Пастернаке. Речи писателей, статьи и письма в газетах и мой собственный грех: отсутствие мое там, в Союзе, когда его исключали — моя немота. Пытаюсь укрыться в стихи. В его стихи. Но и из его стихов на память идут только гибельные.

...На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси...

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути...

Это «Гамлет», чуть более десятилетия назад. А вот и давнее, излюбленное мною с юности:

...Дай мне подняться над смертью позорной.
С ночи одень меня в тальник и лед.
Утром спугни с мочажины озерной.
Целься, все кончено! Бей меня влет

Вот оно и сбылось. Целятся. Влет. Конец это уже или только начало конца?

И вдруг, как в дурной мелодраме, или, точнее, так, как бывает только в действительной жизни, шофер оборачивает ко мне свое узкое лицо:

— Читали, гражданочка? — Он скашивает глаза на «Литературную газету». — Один писатель, Пастер, кажется, фамилие, продался зарубеж-

ным врагам и написал такую книгу, что ненавидит советский народ. Миллион долларов получил. Ест наш хлеб, а нам же гадит. Я вот этими руками, — мы стояли под красным светом, и он на секунду оторвал руки от руля, — я на комбайне. Для него убирал хлеб. А он, гадина...

Честные рабочие руки снова ухватили баранку. Зеленый. Поехали. Между мною и моим собеседником на сиденье газета: несколько прямоугольных листов. Председатель кохоза имени Ленина из села Гуляй-Борисовка «с радостью встретил сообщение о том, что Пастернак лишен высокого звания советского литератора». Старший машинист экскаватора из Сталинграда тоже доволен. «Нет, я не читал Пастернака, — сообщает он. — Но знаю: в литературе без лягушек лучше». Письмо так и озаглавлено: «Лягушка в болоте».

Непрочная вещь — бумага. Ее можно смять одной рукой и выбросить за окно. Разорвать или сжечь.

Но она была между мною и моим собеседником как железобетонная стена. В его глазах великий поэт, чью поэзию и прозу я любила с отрочества, был всего лишь тунеядцем, задаром поедающим хлеб.

— Пастернак, а не Пастер, — сказала я через стену. — Все, что вам о нем говорят и пишут, — неправда. Вас обманывают. Это великий русский писатель. Он никого не предал. Он любит вас. Он сказал о вас в своих стихах:

...Превозмогая обожанье,
Я наблюдал боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря...

Шофер не услышал ни единого слова. Между нами стена. Мы сидели рядом, по-прежнему разделенные всего лишь листками бумаги. Но голос мой сквозь нее не долетал до соседа.

Мы приехали. Взглянув на счетчик, я протянула шоферу деньги.

— Что Пастер, что Пастернак, разницы нет, — сказал он. — Вы, гражданочка, грамотные, а газет не читаете? Не надо мне ваших двадцать копеек, я часовых не беру.

И он вернул мне мою монету таким гордым, непреклонным движением, словно это были по крайней мере 200 фунтов стерлингов, предлагаемые ему за предательство иностранной державой.

Мне припомнился этот горестный случай сейчас, в начале сентября 1973 года, когда на страницы газет снова хлынул организованный гнев трудящихся — в который уж раз! — на этот раз против двух замечательных людей нашей родины: Сахарова и Солженицына.

...1968 год. Москва. Декабрь. Радостный день. Александру Солженицыну исполнилось пятьдесят лет. Преследования против него уже начались, но еще исподволь. Союз писателей еще не исключил его, но уже не празднует. Сотни читателей напечатанной и ненапечатанной прозы

Солженицына посылают ему поздравительные телеграммы в Рязань. Я тоже.

«Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого, чем Вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество».

Могущество, которое возвратил Солженицын русской литературе, для Союза писателей обуза. Оно ему не по плечу. Союз советских писателей — административное учреждение, созданное, чтобы управлять. Могущество неуправляемо. Оно управляет само.

...1969. Ноябрь. Солженицын исключен из Союза административными средствами. Президиумами да Секретариатами, даже без собрания Московской писательской организации, которым был почтен Пастернак. В самом деле, при чем тут московские писатели? Ведь Солженицын — рязанский. Там его и исключили. Рязанского масштаба писателишка. Мелочь, из-за которой москвичам и собираться не стоит. Однако, хоть и немногие, кое-кто вступился за эту мелочишку. Среди 23 человек протестовала и я. Телеграфировала в Президиум Союза, что считаю исключение Солженицына национальным позором нашей родины.

...1973. Сентябрь. Травля академика Сахарова, а заодно и Солженицына, который в 1970 году получил Нобелевскую премию, вызвал этим против себя разнообразные гонения и все-таки имеет мужество защищать других.

Стройными рядами выступают на страницах газет академики, писатели, скульпторы, композиторы, художники. Тут же — отклики «простых людей», трудящихся, организованный взрыв стихийного народного гнева, которому приказано иметь вид естественного извержения вулкана.

Само собой разумеется, что никто из гневающихся и возмущающихся не имеет об академике Сахарове, об его поступках, предложениях и мыслях ровно никакого понятия. В метро и троллейбусах ведутся разговоры о каком-то негодяе Сахаревиче, который жаждет войны. А быть может, он и не Сахаров вовсе, а на самом деле Цукерман?

Где ты сейчас, мой старинный собеседник, узкоплечий мальчик-шофер с честными рабочими руками? По-прежнему ли ты веришь газетам? Ненавидишь ли ты сейчас академика Сахарова по газетной подсказке, как в пятьдесят восьмом году по той же подсказке искренне возненавидел Пастернака, а в другие годы и теперь — Солженицына? «Я не читал Пастернака, но знаю: в литературе без лягушек лучше». «Я не читал романы Солженицына, но возмущен...» А может быть, за это время мой бывший собеседник, водитель такси, ты отрезвел, догадался, что, прежде чем возмущаться ими, надо *знать их* и думать обо всем на свете самому, собственным своим умом — не газетным.

Звуконепроницаемая стена, методически, злонамеренно воздвигаемая властью между создателями духовных ценностей и теми, ради кого эти ценности созидаются, с 1958 года и особенно с 1969-го выросла

и укрепились. Стена, наглухо отделяющая «простой народ» от его пророков и мучеников.

Стена возведена прочная, железобетонная.

Она ничуть не ниже и не безвредней берлинской. У берлинской стены, отделяющей одну часть города — и народа — от другой, при попытке через нее перебраться охрана открывает стрельбу. Каждый выстрел гремит на весь мир и отзывается в душе каждого немца и не немца. Борьба за душу «простого человека», за право, минуя цензурную стену, общаться с ним, ведется в нашей стране беззвучно. Когда-то об этом беззвучии написал Мандельштам:

Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи на десять шагов не слышны.
А где хватит на полразговорца —
Там припомнят кремлевского горца.

«Кремлевский горец», Сталин, умер, но дело его живет. Массовые облавы смертью его прекратились. В тюрьмах и лагерях сидят теперь не десятки миллионов ни в чем не повинных людей, как при Сталине, а тысячи виновных. И вина у всех одна и та же: слово. Через стену, воздвигнутую газетной ложью, стену между задумавшимися и беззаботными, слово не проникает. Кричи! Ни до кого не докричишься; разве что до сотни человек сквозь дыру, просверленную в стене самиздатом. Дыру эту сейчас, в наши дни, усиленно замуровывает КГБ — обысками, тюремными сроками и плевками газет. Если и докричишься, вопреки укрепленной стене, до кого-нибудь, то всего лишь до сотен, а население нашей страны около двухсот пятидесяти миллионов. И они возмущены — не теми людьми, кто пулеметною очередью неправосудных судов, тюрьмами, лагерями, ложью укрепляет стену, преграждающую дорогу правде, — а теми, кто пробует, напрягая ум, душу и голос, до них, своих соотечественников за стеной, докричаться.

Мели, Емеля! Гуляй, Борисовна! Сотрудники газеты сами придут или позвонят тебе на дом и, подделяваясь под «народный слог», сами сочинят за тебя твой гнев и твоё возмущение. Тебе остается только подмахнуть бумажку. Ты и подмахиваешь.

Первыми выступили, осуждая академика Сахарова, деятели науки, искусства и литературы. К ним я обращаться не стану. Они образованные, начитанные, они прекрасно знают истинную цену и Солженицыну, и Сахарову, и, главное, самим себе. На них тратить слова не стоит. Подпись Шостаковича под протестом музыкантов против Сахарова доказывает неопровержимо, что пушкинский вопрос решен навсегда: гений и злодейство совместны. Гений и предательство. Гений и ложь. Члены Академии наук, члены Союза писателей и прочих «творческих Союзов» — и в первую очередь те, кто дергает их за веревочку, — продумали все отлично, они ведают, что творят, они понимают, почему и чем Сахаров и Солженицын, каждый на свой лад, им помеха.

К ним, к писателям, художникам, музыкантам, артистам, ученым, обращаться мне незачем. Им и без моего разъяснения известно, где правда. Худшие из них — профессиональные предатели, давно уже не имеющие никакого отношения ни к науке, ни к литературе или искусству; лучшие — талантливы, любят литературу, искусство, науку, но полагают, что «нельзя терять связи с читателем» (зрителем, слушателем) — сподручнее продать слово; полагают, что если они не подпишут подготовленный начальством документ, издательства перестанут печатать их научные труды, повести, рассказы, стихи; раскидают набор уже принятой научной статьи или повести; не выпустят за границу с концертом; закроют выставку картин. И тогда? Что же тогда станет с бедной литературой, наукой, с бедным искусством — и с ними? Они недомысливают: нельзя без конца вырезать фестоны из собственного сердца — оно перестает плодоносить. Не знаю, как в математике или в музыке, но в литературе — в слове — нельзя. Пишите ваши повести, ваши стихи и рассказы, печатайтесь! Вас больше нет.

Мое обращение не к вам, а к тому мальчику за баранкой, который когда-то, не прочитав ни единой строки Пастернака и нетвердо зная его фамилию, твердо верил, что Борис Пастернак ест наш хлеб, ненавидит наш народ и продался зарубежным врагам.

Вряд ли ты услышишь меня, но я обращаюсь к тебе. К так называемому «простому человеку». Он вовсе не прост и уж вовсе не глуп, но он несведущ. Он введен в заблуждение. Неведение его роковое. И для него, и для нас.

«Гнев и возмущение» против академика Сахарова выражает казенными словесами доктор технических наук В. Сычев в газете «Известия» от 30 августа. Присоединяется к нему вскоре сборщик-механик М. Власов. Торопятся и донецкие шахтеры. От их имени выступает в «Правде» 3 сентября бригадир комплексной бригады на комбинате «Донецкуголь». Возмущены и ленинградцы: кроме М. Власова, рабочие Кировского завода в лице своих бригадиров — двух Героев Социалистического Труда и одного лауреата Государственной премии. Сильно горчатся в Ростове-на-Дону.

«Когда я прочитал в газете о поступке, а сказать вернее, об антисоветской выходке академика Сахарова, — пишет газосварщик Т. Ольхов, — то возмутился до глубины души. Ну, думаю, очутись я на той самой пресс-конференции, где Сахаров клеветал на нашу страну, я сказал бы ему «пару ласковых». Это — в газете «Советская Россия». Воображаю, как был доволен сотрудник газеты, подыскавший настоящее «народное» выражение: «пару ласковых».

Не отстают и колхозники. Они «до глубины души возмущены непорядочными действиями академика Сахарова». (Правда, 4 сентября.) Рядовые, а среди них и сановные: Герои Труда и депутаты Совета.

Народ «возмущен до глубины души». Еще бы! Ведь писатель Вадим Кожеников еще 30 августа на страницах газеты «Известия» разъяснил колхозникам и шахтерам, комбайнерам и токарям, будто Сахаров — слу-

шайте! слушайте! — кощунственно потребовал «вмешательства империализма во внутренние дела своей страны и братских социалистических стран».

Ну как же было не возмущаться всему советскому народу. Я и сама возмутилась бы, если бы не знала, что такое Вадим Кожевников... Я не могу подобрать определения его имени и его поступку (разве что называть его начальником охраны у берлинской стены, а слова его — пулями, расстреливающими людей, ищущих единения со своими соотечественниками). Кожевников трехмиллионным тиражом сообщил читателям, будто академик Сахаров зовет на нашу землю интервенцию. Как же тут не возмущаться?

Позволю же себе и я сказать, что на самом деле совершил и к чему на самом деле зовет академик А. Д. Сахаров. Тунеядец ли он и зря ли ест хлеб, выращенный честными руками колхозников, убранный честными руками комбайнеров, или слова Кожевникова — кощунственная ложь, преступление с заранее обдуманнным намерением.

Знаменитый советский физик, действительный член Академии наук СССР, А. Д. Сахаров трижды Герой Социалистического Труда и дважды лауреат Государственной премии изобрел для Советского государства водородную бомбу.

Таким образом, товарищи рабочие и колхозники, он не ел даром хлеб, а трудился и дал в руки Советскому государству мощнейшее оружие в мире.

Получив в качестве премий огромные деньги, он полтораста тысяч из них пожертвовал Советскому государству — на Онкологический институт и Красный Крест.

Слышали вы об этом?

Но если он создал бомбу — быть может, он все-таки любит войну?

Нет, товарищи колхозники, рабочие и советские служащие!

Человек сердечного ума и думающего сердца, Андрей Дмитриевич Сахаров возненавидел бомбы и всякое насильничество. Обращаясь к Советскому правительству, к народам и правительствам на всем земном шаре, он первым стал раздумывать вслух о том, что названо ныне «разрядкой международной напряженности». Он написал несколько больших статей, известных всему миру, кроме тебя, товарищ советский народ, статей, в которых пригласил народы земного шара, вместо того чтобы накапливать бомбы, — накапливать мысли: как спасти человечество от угрозы войны? голода? болезней? вымирания? как спасти природу, человечество, цивилизацию от гибели?

Он совершил нечто более значительное: задумался и о судьбе конкретного человека, каждого человека, отдельного человека, и прежде всего о судьбе человека нашей родины. Это — его особенная заслуга, потому что раздумывать о судьбах всего мира, как бы ни были важны твои мысли, легче, чем выручить из беды хотя бы одного человека. Ведь кроме бомб, болезней и голода всюду на нашей планете, а на нашей родине в частности, существуют в изобилии тюрьмы, лагеря, и — это уж наш,

родной, советский вклад в дело палачества! — сумасшедшие дома, куда насильно запирают здоровых.

Вместе со своими друзьями академик А. Д. Сахаров организовал в точном соответствии с Конституцией Советского Союза Комитет Прав Человека. Комитет этот зарегистрирован при ООН, международной организации, в которую входит Советский Союз.

Никогда, ни разу, ничем, ни на йоту ни он, ни его товарищи не нарушили советский закон. Напротив, они стали защитниками людей, осужденных вопреки советскому закону, и разоблачителями тех, кто наш закон нарушает.

Стоп. Вот тут академик Сахаров с товарищами и сделался помехой власти. Законы существуют писанные и неписанные. У нас действует один неписанный закон, тот, который сильнее всего свода наших законов, вместе взятых, тот, от которого власть не отказывается никогда; у нас существует лишь одно преступление, которого власть никогда и никому не прощает; этот единственный, соблюдаемый строжайше закон: каждый человек должен быть сурово наказан за малейшую попытку самостоятельно думать. Думать вслух.

Вот за что был спущен на Сахарова Кожевников, а следом за Кожевниковым — механическим нажатием кнопки — «гнев народа».

Сахаров не менее других радовался смягчению международной напряженности, им же, его же плодотворными мыслями и подготовленному. Но при этом он считал своим долгом предупредить обрадованных: смотрите, чтобы под шум банкетов, сопровождающих встречи на среднем, высоком и высочайшем уровне, не заглохли голоса тех немногих людей в нашей стране, которые не желают примириться со зверством.

Галансков умер в лагере. Григоренко медленной казнью ежедневно казнят в тюремном сумасшедшем доме. Амальрик в заключении перенес менингит — его следовало немедленно помиловать, а ему, когда он отбыл свой срок, дали новый. Разве это не равняется для него смертному приговору? Я перечисляю судьбы, случайно оказавшиеся в поле моего зрения. Обыски и аресты идут сейчас повсюду — от Черного моря до Белого... Москва, Ленинград, Киев, Одесса. В сумасшедших домах сводят с ума здоровых. Против беззаконий и зверств поднял свой голос академик Сахаров. За это его называют антисоветчиком.

Разве слово «советский» означает — беззаконный и зверский?

От чьего имени я обращаюсь к своему несуществующему читателю? От имени всего советского народа, как один электрик? От имени рабочего класса, как один шахтер? Или от имени карусельщика и газосварщика?

Нет. Я не присваиваю себе подобного права. Не знаю, кто дал его им... Говорю ли я от имени советской интеллигенции? Тоже нет. Ведь и Свиридов, и Леонид Мартынов, и Энгельгардт, и Быков, и Кукрыники, и Чингиз Айтматов — люди, несомненно, интеллигентные, а они выступили против Сахарова, защитника гонимых. Значит, не вправе я причислять себя к интеллигенции. Кого-нибудь пора от интеллиген-

ции отчислить — либо меня, либо их... Протестую ли я от имени «инакомыслящих», как называют за границей преследуемых у нас протестантов? Нет, я говорю от самой себя, от одной себя; «инакомыслящие» не поручали мне говорить от их имени; да ведь и организации у нас такой нет: «инакомыслящие». Самое слово представляется мне неточным. Чтобы мыслить «инако» — надо, чтобы у того, от кого ты отличаешь себя своей «инакостью», существовала какая-нибудь мысль. Но стереотипное газетное пустословие не есть мышление. И преследование самиздата, «Хроники текущих событий», Сахарова, Солженицына, сотен других — это не назовешь идейной борьбой, это есть попытка тюрьмами и лагерями снова загнать голоса в немоту.

...Я вижу и слышу Андрея Дмитриевича Сахарова, четыре часа под проливным дождем упорно стоящего перед закрытыми дверями открытого суда, где подбирают уголовные статьи для наказания за мысль, и с кроткой настойчивостью повторяющего в лицо охраннику одни и те же слова:

— Я — академик Сахаров... Член Комитета Прав Человека... Я прошу допустить меня в зал...

Его не пускают. Ведь он не только физик; он и его друзья — знатоки советских законов; он может, выйдя из зала суда, рассказать людям, как законы эти нарушаются. Он может нарушить главный закон нашей жизни; не тот, который записан в Конституции, а главный, неписаный, — закон сохранения немоты.

Слышали вы об этом, актеры очередного «народного гнева»? На страницах газеты вы заявляете, что не в силах «словами выразить свое возмущение»... Потому и не в силах, что в вашем «возмущении» нету и грана подлинности, что оно вызвано системой механических кнопок.

А вы, Кожевников, и те, кто нажимает кнопки, вы, намеренно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля; вы, возводящие газетную — железобетонную — стену между лучшими умами и «простыми людьми»; вы, пытающиеся повернуть историю вспять; вы, искусственно, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны «народного гнева», предпочитая немоту любому слову, — смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но — ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющей мыслью — мыслью академика Сахарова, например, — он утопит в крови, без разбора, и виноватых и правых.

Хочу ли этого? Нет. Этого я никому не желаю.

7 сентября 1973 года

ПРЕДСМЕРТИЕ

1

На телеграфном бланке, протянутом мне моей собеседницей, было крупно выведено:

«Асеев и Тренев отказали в прописке».

— Нет, такую телеграмму посылать нельзя, — сказала я. — Вы же сами говорите, что Марина Ивановна в дурном состоянии. Да и подумаешь — высшая инстанция: Тренев и Асеев! Да и подумаешь, столица — Чистополь! Здесь прописывают литераторов всех без изъятия. Были бы невоеннообязанные.

— А вы с Треневым или Асеевым знакомы? Беретесь уговорить? Без них нельзя. В Чистополе они представляют Президиум Союза писателей.

— Здесь я почти ни с кем не знакома. Я ведь ленинградка, не москвичка... К тому же я не член Союза и не член Совета эвакуированных. С чего Асееву или Треневу меня слушать?.. А скажите, пожалуйста, вам понятно, какого черта они не желают прописывать Цветаеву?

— Как! — моя собеседница сделала большие глаза и перешла на шепот. — Вам разве не известно, кто она?

— Известно: Цветаева — поэт, очень своеобразный и сильный. Одно время была в эмиграции. Потом вернулась по собственной воле на родину. Ее муж и дочь арестованы. Она осталась одна с сыном. Ну и что?

— Тссс! — снова встревожилась моя собеседница. — Не говорите так громко. Мы не одни.

Мы и в самом деле далеко не одни. Тесное, душное помещение почти полным-полно.

Место действия — Чистополь. Небольшой городок на левом берегу Камы. Один из районных центров Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. Центр не особенно центральный: 142 километра до Казани, 90 до ближайшей станции железной дороги. Время действия: конец августа 41-го года. Конец второго месяца войны.

Моя случайная собеседница, Флора Моисеевна Лейтес, женщина с ярко-черными волосами и в ярко-пестром платье, стоит в очереди к окошку, где принимают телеграммы, я же — к окну «до востребования».

Я прихожу сюда каждый день, но напрасно: ни от кого ничего. Никакого ответа на мои непрерывные письма.

С Флорой Моисеевной Лейтес я еле знакома. В Чистополь Московский Литфонд эвакуировал писательский детский сад, писателей-стариков, писателей-инвалидов, писательские семьи. Семьям ленинградских литераторов положено было вместе находиться под Ярославлем, в Гавриловом-Яме. Я же попала в Чистополь, а не под Ярославль потому, что война застигла меня не в родном моем Ленинграде, а в Москве, где я перенесла тяжелую медицинскую операцию. С первого же часа войны мною овладела неодолимая жажда вернуться домой, в Ленинград, но в июле 41-го с незарубцевавшейся раной, с постоянными болями в сердце пробираться в Ленинград — на буфере, на крыше вагона! — нечего было и думать. (Тем более, что дорога Москва — Ленинград уже подвергалась налетам.) Когда мне стало чуточку лучше, меня, мою десятилетнюю дочь Люшу и четырехлетнего племянника Женю — всех нас троих под присмотром няни Иды — отправили из Москвы с другими семьями московских писателей в Чистополь.

Во второй половине июля немцы в своем рывке на Москву уже захватили Смоленск, Ельню, Рославль. Двигались они и к Ленинграду. В начале августа до нас доползли слухи, что они уже на подступах к Киеву. Москву начали бомбить еще при мне, Внуковский аэродром (в нескольких километрах от Переделкина) — тоже. «Последние известия», объявляемые в газетах и по радио, не всегда бывали истинно последними: власти с нарочитой замедленностью объявляли гражданам о сдаче очередных городов, и граждане, как это повелось издавна, питались преимущественно слухами. К тому же радиотарелки вещали только в некоторых учреждениях, только на главных улицах или площадях. Да и газеты опаздывали.

Основное мое занятие в Чистополе: кроме очередей за керосином или селедкой, стоять в очередях за вестями — за письмами. В очередях все большие женщины, вестей они ожидают все больше из армии. Я хочу знать и не знаю, где сейчас оба мои брата: оба на фронте, но где? и живы ли? Уехали ли из Москвы мои родители — и куда? и не разбомбили ли их квартиру в Москве или эшелон по дороге? Где все мои друзья-ленинградцы? Эвакуированы или остались, и в каком вообще положении Ленинград? Бомбят ли его? Обстреливают?.. В Чистополе, кроме меня, ленинградцев нет, расспрашивать некого. А почта в параличе. Каждый день я волочу сюда ноги по черной грязи, липкой даже в жару. Плетусь, одолевая одышку, и считаю свои шаги или, для разнообразия, окна домишек — чет или нечет? Будет письмо или нет? Какое-нибудь от кого-нибудь? А вдруг из Ленинграда?

Сегодня мой последний шаг был четный. Значит, будет.

Флора Моисеевна задает мне свои вопросы о телеграмме Цветаевой в самую неподходящую минуту: от меня до почтового окошка всего три человека. Я отвечаю ей, думая совсем о другом.

— Так что же, по-вашему, делать? — тербит меня Лейтес. — Телеграмму ей посылать, по-вашему, не следует, а делать-то что?

— Наставить! Хлопотать!.. Елабуга небось такая же дыра, как и Чистополь. Что за разница Союзу писателей, где именно будет Цветаева жить? Была же она прописана в Москве или в Московской области, почему же ее не прописывать здесь?

Прописка в Чистополе для литераторов затруднений не представляла. Наш пароход отплыл из Москвы 28 июля, прибыли мы в Чистополь, с пересадкой в Нижнем, 6 августа, а дней через десять все уже были прописаны.

Сначала меня с семьей, как и всех новоприбывших, поместили в здании педагогического училища, превращенном в общежитие. Потом я сняла комнату неподалеку от Камы на деревенской улице, носящей громкое, но малоподходящее для русско-татарско-чувашского городишки название: улица имени Розы Люксембург. Совет эвакуированных выдавал всем приезжим справку со штампом Союза писателей за подписью Асеева, Тренева и уж не помню чьей. Выдали справку и мне. Ищи себе комнату и отправляйся в горсовет, к Тверяковой. Та в свои приемные часы всегда на месте. Это доброжелательная и толковая женщина. Она расспрашивала, у кого дети, какого возраста, прикидывала, какой семье в какой избе будет удобнее: где какие хозяева, где хозяин пьет, где хозяйка сварливая, у кого корова, у кого козы. Когда приезжий находил себе комнату, она незамедлительно ставила штамп. Была бы справка. Писательских фамилий она безусловно не слыхала никогда ни единой. О Цветаевой она так же не слыхивала никогда ничего, как о любом другом литераторе, будь то Гладков, Чуковский, Лейтес или Александр Твардовский.

Нет, четное число шагов от избы до почты обмануло меня и на этот раз. Писем опять нет. Я отхожу от окна.

— А с Ляшко вы можете поговорить?

— С Ляшко? А он кто такой? Я никогда и в глаза его не видывала и не читала ни единой строчки.

Однако фамилия Ляшко — быть может, по совпадению окончаний? — напомнила мне о Квитко, о моем хорошем знакомом, поэте Льве Квитко, приехавшем в Чистополь на несколько дней навестить семью. Перед отъездом он обещал зайти ко мне. Поговорить о Цветаевой с Квитко — это разумная мысль. Он из тех, кто безусловно имеет вес в Союзе.

— Я попрошу Квитко, — говорю я, — а вы, очень советую вам, не посылайте пока телеграмму.

Флора Моисеевна пожимает плечами и кладет телеграмму себе в сумочку. Мы вместе выходим на улицу. Прощаемся: нам в разные стороны.

Итак, вестей нет, нет и нет. Нету писем. Вести же, сообщаемые нам в последние дни газетами и радио, таковы:

«Правда», 18 августа, понедельник.

От Советского информбюро. Вечернее сообщение.

В течение 17 августа наши войска продолжали вести ожесточенные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили города Николаев и Кривой Рог. Николаевские верфи взорваны.

19 августа, вторник.

После упорных боев наши войска оставили город Кингисепп.

21 августа.

Ко всем трудящимся города Ленина.

Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!

Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск. Враг пытается проникнуть к Ленинграду.

...Смерть кровавым немецким фашистским разбойникам!

Победа будет за нами!»

Хотела бы я расшифровать строку: «Враг пытается проникнуть к Ленинграду». Проникнуть к нельзя. Проникнуть можно только в. В Ленинград? Значит, немцы уже вблизи, возле, вплотную? В Стрельне? В Колпине?

«26 августа. Вечернее сообщение.

В течение 25 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. После упорных боев наши войска оставили Новгород».

Оставили, оставили, оставили...

...что народу-то!

Что народу-то! с камнем в воду-то!

Приходит ко мне Квитко. Мне хочется разузнать у него, какие вести, помимо газетных, из Киева — он сам с Украины, с Уманщины родом, и Киев для него, верно, такая же боль, как для меня Ленинград. Квитко я знаю ближе, чем остальных здешних москвичей: он друг моего отца. Корней Иванович одним из первых заметил и полюбил стихи Квитко для детей, добился перевода их с идиш на русский язык, и Лев Моисеевич Квитко, после большого успеха своих стихов в русской поэзии незадолго до войны перебрался в Москву. Теперь два-три дня пробыл в Чистополе: здесь жена его и дочь. Ко мне пришел накануне отъезда расспросить поподробнее, что передать от меня отцу, если они где-нибудь встретятся.

Что передать? Чистополь — это настоящий капкан. Обрести здесь хоть какой-нибудь заработок безнадежно. Снабжение убогое, цены на рынке растут, а где работа? В Ленинграде я уже работала stenografistкой; писала кое-какие статьи; была редактором; могу быть корректором,

но в Чистополе нет учреждений, нуждающихся в стенографистках, и, уж конечно, никаких издательств. Я могу преподавать русский язык и литературу, но в здешних школах все места заняты здешними учителями. Семейству моему денег, лекарств и продуктов, взятых с собою из Москвы, хватит, по моим расчетам, месяца на полтора. А дальше? А дальше наступит зима. Кама на зиму станет, навигации конец, железной дороги нет, и из капкана не вырваться.

Письма ни от меня, ни ко мне не доходят, я не знаю где кто: я просила Квитко во что бы то ни стало разыскать Корнея Ивановича, все рассказать ему, а потом сообщить мне телеграфно: где мои родители, живы ли братья?

Квитко вглядывался в детей и в меня, в нашу комнату, расспрашивал о здоровье. О Киеве я заговорить не решилась. Неужели — оставят? Оставят Киев?.. Я очень этот город любила, жил он в моем сердце, пожалуй, на втором месте после Ленинграда. Да и не только город: там отец, и мать, и брат моего покойного мужа. Успели ли выехать?.. Да нет, быть того не может, чтобы наши отдали Киев! Этого имени я в разговоре с Квитко не произнесла. Но о Цветаевой, о безобразии, творимом Литфондом, заговорила. Ведь не ссыльная же она, сказала я, а такая же эвакуированная, как все мы, — почему же ей не разрешают жить где ей хочется? Ведь не прикреплена она к месту. Квитко потемнел. Этот человек редкостного душевного равновесия не любил сталкиваться с несправедливостью. Она мешала его открытому и веселому нраву, воистину детскому — тому, который так счастливо слышен в его стихах. Она становилась поперек его вере. Он всегда внушал себе и другим, что все будет хорошо, он любил в это верить, он этою верою жил... Лев Моисеевич обещал мне увидаться сегодня же с Асеевым, выяснить, в чем, собственно, дело, да и прямо, от своего имени, поговорить с Тверяковой. (Он был не только член партии, но и писатель-орденоносец — редкость по тем временам.) «Все будет хорошо! — повторил он несколько раз на прощанье. — Сейчас самое главное — каждый человек должен накрепко помнить: все кончится хорошо». Относилось это заклинание и к моим родным, и к войне, и к Ленинграду, и к Киеву, и к Цветаевой — и к самой жизни... Глядя на его сильные плечи, на крупные черты лица, чем-то, быть может, смуглотой, а может быть, щедростью улыбки, напоминавшие Пастернака, слушая его звучный голос, я на минуту поверила, что и впрямь все кончится хорошо.

(Лев Моисеевич Квитко был арестован в разгар «борьбы с космополитизмом», в 49-м году, и после жестоких истязаний расстрелян в 52-м. Думаю, он расстался с верой, что «все кончится хорошо», лишь в минуту расставания с жизнью.)

Я проводила его до ворот. Он обещал мне раздобыть все сведения о Корнее Ивановиче, увидеть его или написать ему и непременно телеграфировать мне. Что же касается Цветаевой — он прямо от меня отправился к Асееву.

На следующий день я пошла искать аптеку: у Жени повысилась температура, глотать ему больно — по-видимому, ангина. Отправилась я добывать компрессную бумагу. Если не окажется в аптеке, зайду в писательское общежитие, там уж у кого-нибудь найдется. Там у меня завелось много новых знакомых, полужнакомых, четвертьзнакомых — недавних спутников по общему плаванию.

В этот день — думаю, было это 29 августа — и встретилась я впервые с Мариной Ивановной Цветаевой.

2

Было в Чистополе место, где неизбежно встречались все вновь прибывшие и прибывшие ранее: площадь перед горсоветом. Куда бы ни шел, а ее не минуешь. Иногда и нарочно завернешь туда. Там уж какую-нибудь новость и ухватишь: кого куда переселили из общежития; когда наконец выдадут керосин — а то здешние хозяева берегут дрова на зиму, своих русских печей не топят, а у нас у всех керосинки; и, главное, — какие новости с фронта? Что означает: «враг проник к Ленинграду»? Немцы в Царском? В Стрельне? Немцы уже ходят по Невскому? Черная радиотарелка вещала на той же площади горсовета: она часто портилась, но кто-нибудь уж наверняка слышал последние известия.

Из общежития, где мне подарили компрессную бумагу, шла я назад через эту всезнающую площадь. Пусто. И тарелка молчит. Как вдруг кто-то меня окликнул.

Это была та же Флора Моисеевна Лейтес. Она шла об руку с художавшей женщиной в сером. Серый берет, серое, словно из мешковины, пальто, и в руках какой-то странный мешочек.

— Познакомьтесь: Марина Ивановна Цветаева.

Женщина в сером поглядела на меня снизу, слегка наклонив голову вбок. Лицо того же цвета, что берет: серое. Тонкое лицо, но словно припухшее. Щеки впалые, а глаза желто-зеленые, вглядывающиеся упорно. Взгляд тяжелый, выпытывающий.

— Как я рада, что вы здесь, — сказала она, протягивая мне руку. — Мне много говорила о вас сестра моего мужа, Елизавета Яковлевна Эфрон. Вот передоу в Чистополь и будем дружить.

Эти приветливые слова не сопровождались, однако, приветливой улыбкой. Вообще никакой улыбкой — ни глаз, ни губ. Ни искусственно светской, ни искренне радующейся. Произнесла она свое любезное приветствие голосом без звука, фразами без интонации. Я ответила, что тоже очень, очень рада, пожала ей руку и заспешила на почту.

Всю дорогу, шагая мимо шатких дощатых заборов, вспоминала я этот желто-зеленый взгляд и размышляла над этими неподходящими словами: «Будем дружить!» Разве мы девочки-школьницы, чтобы, увидавшись впервые, усаживаться: вот сядем за одну парту и будем дружить? А самое странное — я бы даже сказала, смешное! — это упомина-

ние о Елизавете Яковлевне. Что могла Елизавета Яковлевна Эфрон обо мне рассказывать, да еще «много рассказывать», если встреча у нас с ней произошла одна-единственная и, мягко выражаясь, в высшей степени неудачная? Встретились мы в санатории Академии наук «Узкое», под Москвой. Я приехала вечером и оказалась за одним столиком с незнакомой дамой; завтра с утра ей уезжать. Полная дама, гораздо старше меня, лет пятидесяти, — и тем не менее, настоящая красавица. Глубокие, темные глаза, ровные белые зубы и какая-то особая прелесть в мягком голосе, в мягких движениях, в серьезном внимании к собеседнику. Мы сказали друг другу «Добрый вечер!» и, не называя своих имен, за ужином разговорились. Разговор сначала был самый пустой, незначительный — о здешних врачах, о режиме, но, не помню почему, речь зашла о «художественном чтении» — о недавнем приезде какого-то чтеца, что ли. Я, с детства наслушавшаяся, как читают поэты, высказала нечто нелестное об актерском исполнении стихов. Я слышала Антона Шварца, Качалова, Яхонтова — и все они мне не нравились. «Они не доверяют стиху, — говорила я, — они думают, что к стиху надо еще что-то прибавить от себя: голосом, интонацией, жестом. А стих не нуждается в этом. Его надо только огласить, произнести, изо всех сил совершая вычитание себя, — вот как читал Блок, например. Он как бы перечислял слова — и только, с точнейшим соблюдением ритмического рисунка, разумеется... К тому же, — добавила я, — все это «художественное чтение» развращает слушателя, преподнося ему стихи в качестве некоего аттракциона, а на самом деле стих для поэта — плод глубочайшего сосредоточения, вслушивания — и восприятие должно быть результатом сосредоточенности». Моя vis-à-vis смотрела на меня молча, внимательно, даже как-то задумчиво, положив щеку на руку, словно посылая мне навстречу через стол очарование своих внимательных глаз. А наутро, когда она уже уехала, мне, в ответ на мои расспросы, объяснили, что это была наставница всех лучших актеров-чтецов, обучавшая их художественному чтению, режиссер, знаменитый педагог Елизавета Яковлевна Эфрон.

Помню, я тогда пришла в отчаяние от своей бестактности, резкости; я испугалась, что она приняла мою болтовню за преднамеренную грубость или за попытку учить ее уму-разуму.

И вот теперь от Цветасвой: «Я рада, что вы здесь, будем дружить, мне много рассказывала о вас Елизавета Яковлевна». Быть может, Марина Ивановна и сама не одобряет «художественное чтение» и по рассказу Елизаветы Яковлевны поняла, что я люблю стихи?

Писем не было. Зато из разговора в очереди на почте я узнала, что «после упорных боев наши войска оставили город Днепропетровск». Кто-то где-то слышал по радио.

На следующее утро, когда я, со стаканчиком меда в руке, возвращалась с рынка, на улице ко мне подбежала встревоженная девушка — совсем молоденькая, одна из чьих-то писательских дочерей (фамилии не помню) — и, подбежав, оглушила вопросом:

— Вы — член Совета эвакуированных? Совета Литфонда?

— Да нет же! Я вообще никто. Даже не член группкома. Я отправлена сюда потому, что я «член семьи писателя Чуковского».

— Господи, как не везет... Я думала, вы хоть член Союза. Тут нужен человек с именем. Но все равно. Идите. В помещении парткабинета заседает сейчас Совет Литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей.

Чужая тревога повелительна. Я не стала объяснять, что и Цветаеву-то видела всего раз в жизни и для нее никто. Держа стаканчик перед собой, я заспешила в парткабинет. Не могу сейчас вспомнить с уверенностью, но, кажется мне, помещался он в том же здании горсовета и был для меня местом известным: туда, хоть и с опозданием, доставлялись газеты и даже нас, беспартийных, пускали читать.

Я старалась идти быстро. Кроме сильно колотившегося сердца, очень мешал стаканчик: нельзя было уронить ни капли.

По дороге пыталась я придумать, что же все-таки произнесу, если меня, паче чаяния, на заседание литфондовского Совета пустят? Ничего, кроме мысли, уже высказанной мною Льву Моисеевичу: «Она ведь эвакуированная, а не ссыльная, и не лишена права передвигаться», — не лезло мне в голову. Но то, что я могла с глазу на глаз выговорить Льву Моисеевичу, стоило ли произносить публично? Упоминание о ссыльных или о правах только раздражит начальство. Ах, доказательнее всего прочесть бы им вслух какое-нибудь из любимых моих цветаевских стихотворений (я знала тогда и любила немного: сборник «Версты»). Неужели человек, создавший, написавший своею рукой такую мученическую и мучительную мольбу, такой упрек, такое воззвание к Господу Богу:

...Чем прогневили тебя эти серые хаты,—
Господи! — и для чего стольким простреливать грудь?
Поезд прошел и завыл, и завyli солдаты,
И запылil, запылil отступающий путь...

Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернoбровых красавицах.— Ох, и поют же
Нынче солдаты! О, Господи Боже ты мой! —

неужели поэт, проорывавши эти слова, не прописал себя на веки веков в великой русской литературе, а значит, и в любой точке российской земли? Ведь это тоже, что хоть и шепотом, но с тою же силою проговорила тогда же — Ахматова:

Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

(Вот ведь несхожие, чуждые друг другу поэты, а страхась с Россией беда, и два голоса одарили нас одной и той же молитвой. Вопль: «Нет, умереть!» Шепот: «До первой битвы умертвить меня».)

...Лестница. Крутые ступени. Длинный коридор с длинными, чисто выметенными досками пола, пустая раздевалка за перекладной; в коридор выходят двери — и на одной дощечка: «Парткабинет». Оттуда — смутный гул голосов. Дверь закрыта.

Прямо напротив, прижавшись к стене и не спуская с двери глаз, вся серая, — Марина Ивановна.

— Вы?! — так и кинулась она ко мне, схватила за руку, но сейчас же отдернула свою и снова вросла в прежнее место. — Не уходите! Побудьте со мной!

Может быть, мне следовало все-таки постучаться в парткабинет? Но я не могла оставить Марину Ивановну.

Пристроив стаканчик на полу, я нырнула под перегородку вешалки и вытащила оттуда единственный стул. Марина Ивановна села. Я снова взяла стаканчик. Марина Ивановна подвинулась и потянула меня за свободную руку: сесть. Я села на краешек.

— Сейчас решается моя судьба, — проговорила она. — Если меня откажут прописать в Чистополе, я умру. Я чувствую, что непременно откажут. Брошусь в Каму.

Я ее стала уверять, что не откажут, а если и откажут, то можно ведь и продолжать хлопоты. Над местным начальством существует ведь еще и московское. («А кто его, впрочем, знает, — думала я, — где оно сейчас, это московское начальство?») Повторяла я ей всякие пустые утешения. Бывают в жизни тупики, говорила я, которые только кажутся тупиками, а вдруг да и расступятся. Она меня не слушала — она была занята тем, что деятельно смотрела на дверь. Не поворачивала ко мне головы, не спускала глаз с двери даже тогда, когда сама говорила со мной.

— Тут, в Чистополе, люди есть, а там никого. Тут хоть в центре каменные дома, а там — сплошь деревня.

Я напомнила ей, что ведь и в Чистополе ей вместе с сыном придется жить не в центре и не в каменном доме, а в деревенской избе. Без водопровода. Без электричества. Совсем как в Елабуге.

— Но тут есть люди, — непонятно и раздраженно повторяла она. — А в Елабуге я боюсь.

В эту минуту дверь парткабинета отворилась и в коридор вышла Вера Васильевна Смирнова, жена моего приятеля Вани Халтурина. С Верой Васильевной знакома я еле-еле, а с Ваней дружила издавна, еще в Ленинграде, еще чуть не со школьных своих времен. Ваня переехал в Москву и женился на Вере Смирновой. Теперь он в армии, а Вера Васильевна здесь, живет неподалеку от меня, и я, бывает, забегаю к ней наведаться: нет ли письма от Вани.

Цветаева поднялась навстречу Вере Васильевне резким и быстрым движением. И взглянула ей в лицо с тем же упорством, с каким только что смотрела на дверь. Словно стояла перед ней не просто литературная дама — детская писательница, критик, — а сама Судьба.

Вера Васильевна заговорила не без официальной суховатости и в то же время не без смущения. То и дело мокрым крошечным комочком носового платка отирала со лба пот. Споры, верно, были бурные, да и жара.

— Ваше дело решено благоприятно, — объявила она. — Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против. Асеев не пришел, он болен, но прислал письмо за. («Вот и разговор с Квитко», — подумала я.) В конце концов Совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство — за, и бумага, адресованная Тверяковой от имени Союза, уже составлена и подписана. В горсовет мы передадим ее сами, а вам сейчас следует найти себе комнату. Когда найдете, — сообщите Тверяковой адрес — и все.

Затем Вера Васильевна посоветовала искать комнату на улице Бутлерова — там, кажется, еще остались пустые. Потом сказала:

— Что касается вашей просьбы о месте судомойки в будущей писательской столовой, то заявлений очень много, а место одно. Сделаем все возможное, чтобы оно было предоставлено вам. Надеюсь — удастся.

Вера Васильевна простилась и ушла в парткабинет заседать. А мы по лестнице вниз.

Я ничего ни от кого не слыхала ранее ни о грядущей столовой (какое счастье! керосин придется добывать только для лампы!), ни о месте судомойки, на которое притязает Цветаева. О, конечно, конечно, всякий труд почетен! И дай ей Бог! Но неужели никому не будет стыдно: я, скажем, сижу за столом, хлебаю затируху, жую морковные котлеты, а после меня тарелки, ложки, вилки моет не кто-нибудь, а Марина Цветаева? Если Цветаеву можно определить в судомойки, то почему бы Ахматову не в поломойки, а жив был бы Александр Блок — его бы при столовой в истопники. Истинно писательская столовая.

— Ну вот видите, все хорошо, — сказала я, когда мы спустились на площадь. — Теперь идите искать на Бутлерову, а потом к Тверяковой.

И тут меня удивило, что Марина Ивановна как будто совсем не рада благополучному окончанию хлопот о прописке.

— А стоит ли искать? Все равно ничего не найду. Лучше уж я сразу отступлюсь и уеду в Елабугу.

— Да нет же! Найти здесь комнату совсем не так уж трудно.

— Все равно. Если я найду комнату, мне не дадут работы. Мне не на что будет жить.

Я стала говорить, что в Совете эвакуированных немало людей, знающих и любящих ее стихи, и они сделают все, что могут, а если она получит место судомойки, — то и она и сын будут сыты.

— Хорошо,— согласилась Марина Ивановна,— я, пожалуй, пойду, поищу.

— Желаю вам успеха,— сказала я,— освобождая свою руку из-под ее руки.

— Нет, нет! — закричала Марина Ивановна. — Одна я не могу. Я совсем не понимаю, где что. Я не разбираюсь в пространстве.

Я попыталась объяснить ей, что мне непременно надо побывать дома. Что у меня хворает Женя. Что вообще я должна побыть с детьми. Что должна донести до дому мед — он детям обещан, и они ждут его.

— Хорошо,— согласилась Марина Ивановна с внезапной кротостью. — Я пойду вместе с вами, подожду, пока вы будете там возиться, а потом мы вместе пойдем на Бутлерову.

Мы шли по улице Льва Толстого. Я вела под руку Марину Ивановну, а в другой руке держала стаканчик.

— Я знаю вас всего пять минут,— сказала Марина Ивановна после недолгого молчания,— но чувствую себя с вами свободно. Когда я уезжала из Москвы, я ничего с собой не взяла. Понимала ясно, что моя жизнь окончена. Я даже письма Бореньки Пастернака не захватила с собою... Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете будущего?

— Стоит — не стоит — об этом я давно уже не рассуждаю. У меня в тридцать седьмом арестовали, а в тридцать восьмом расстреляли мужа. Мне жить, безусловно, не стоит, и уж во всяком случае все равно — как и где. Но у меня дочка.

— Да разве вы не понимаете, что все кончено! И для вас, и для вашей дочери, и вообще.

Мы свернули в мою улицу.

— Что — все? — спросила я.

— Вообще — все! — Она описала в воздухе широкий круг своим странным на руку надетым мешочком. — Ну, например, Россия!

— Немцы?

— Да, и немцы.

— Не знаю. Я не знаю, захватят ли немцы Россию, а если захватят, надолго ли. Я и об этом размышляю мало. Я ведь мобилизована. Мобилизованным рассуждать не положено. Сейчас на моем попечении двое детей, и я за них в ответе. За их жизнь, здоровье, покой, обучение, веселье.

Я рассказала ей, как, когда пароход наш еще совсем недалеко отплыл от Москвы и качался, весь темный, в черной тьме, неподалеку от какой-то ТЭЦ, — немцы налетели на ТЭЦ и начали бомбить. Бомбили они не пароход, не нас, а ТЭЦ, но бомба легко могла угодить и в нас. При каждом взрыве пароход вздрагивал — весь от носа до кормы — весь, вместе с нами. Я держала Женю на коленях, а Люшу за руку. Сказать по правде, боялась я отчаянно. Жила от вздрога до вздрога. Вспоминались слова Хемингуэя из романа «Прощай, оружие!»: «Сиди и жди, когда те-

бя убьют...» Сидела и ждала. «Насколько легче бойцам в окопах,— думала я тогда.— У них в руках винтовки, а не детские руки». Дети же не боялись, потому что привыкли верить, что если Ида и я рядом, то ничего худого случиться с ними не может. В темноте я читала им на память пушкинского «Гусара». Собственно, читала я для Люши — это ведь совсем не для четырехлетних! — но Женя заливался хохотом, хохотал до слез, я еле удерживала его у себя на коленях, хохотал так буйно, так безудержно, что даже взрослые, совсем не расположенные смеяться, — и те в промежутках между разрывами смеялись (не над «Гусаром» — над Женей). Сейчас и он и Люша знают уже всего «Гусара» наизусть. Четырехлетний Женя, ростом прекрехотный, с полуторарагодовалого, а говорит длинными, законченными фразами, десятилетнему в пору. В Чистополе хозяйские мальчишки (двенадцати и четырнадцати лет) смотрят на него, как на дрессированного лилипута, ходят за ним по пятам, а он читает им:

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!
Гляжу: под лавкой дремлет кот:
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.
Я ну кропить во все углы
Сплеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! — все в печку поскакало...

— «Понюхал: кисло! что за дрянь!» — это стало теперь поговоркой у Люши и Жени, — сказала я Марине Ивановне.

Она слушала меня без всякого интереса. Так подошли мы к моей избе. Я предложила ей зайти, взглянуть на детей, но она сказала: «Нет, я лучше покурю на завалинке», — и села у наших ворот курить.

Стакан с медом встречен был ликованием. Оказалось, Ида выстояла в очереди керосин, и дети были накормлены настоящим обедом: щи и макароны. Ида попробовала накормить и меня, но от усталости я совсем не хотела есть: проклятая базедова и после операции давала себя знать слабостью, сердцбиениями. Прилечь бы! Я высунулась в окно и предложила Марине Ивановне пообедать.

— Нет, нет, — сказала она, пахнув на меня папиросным дымом. — А вы будете заниматься своими детьми еще не очень долго?

Я переменила Жене компресс, измерила ему температуру. Слава Богу, почти нормальная. Наскоро спросила у Люши английские слова, которые были заданы ей по книге *Through the Looking-Glass* — эту книгу

(продолжение «Алисы в стране чудес» Carroll'a) сунул мне на прощание в чемодан Корней Иванович. Все это я делала дурно, торопливо, наспех — меня подстегивало нетерпение Цветаевой.

Под укоризненным Люшиным взглядом я вышла на улицу. Марина Ивановна сидела, прислонившись к стене, а рядом с нею разложены клубки шерсти: белый, голубой, желтый. Я никогда таких не видывала. Словно это не шерсть, а нежный склублившийся дым — клубки, пушистые, мягкие, так и просились в руки, их так и хотелось гладить, будто цыплат, котят. Марина Ивановна вскочила, бросила папиросу в сторону, клубки засунула в свой мешочек и снова взяла меня под руку.

Я повела ее на улицу Бутлерова. (Великий русский химик родился в Чистополе.)

— Дети, дети, жить для детей, — заговорила Марина Ивановна. — Если бы вы знали, какой у меня сын, какой он способный, одаренный юноша! Но я ничем не могу ему помочь. Со мною ему только хуже. Я еще беспомощнее, чем он. Денег у меня осталось — предпоследняя сотня. Да еще если б продать эту шерсть... Если бы меня приняли в судомойки, было бы чудесно. Мыть посуду — это я еще могу. Учить детей не могу, не умею, работать в колхозе не умею, ничего не умею. Вы не можете себе представить, до какой степени я беспомощна. Я раньше умела писать стихи, но теперь разучилась.

(«Разучилась писать стихи, — подумала я, — это, наверное, ей только кажется. Но все равно — дело плохо. Так было с Блоком... незадолго до смерти».)

Мы шли по набережной Камы. Набережная — это просто болото с перекинутыми кое-где через грязь деревянными досками. Мы то и дело отцеплялись друг от друга и шли порознь — я впереди, она за мною. Но в одном месте доски сдвоенны, и мы снова оказались почти рядом. Слова Марины Ивановны напомнили мне о беспомощности Анны Андреевны — в последние годы я близко наблюдала ее быт в Ленинграде. Где-то она теперь, Анна Андреевна? Что с ней? Что с Ленинградом? Мне бы Люшу и Женю доставить своим родителям, а самой туда — там мое место. Уехала ли из Ленинграда Ахматова? Кто сейчас возле нее? Увидимся ли мы когда-нибудь?

(Откуда мне было знать: и двух месяцев не минует, как Анна Андреевна приедет сюда, в Чистополь, поселится у меня, и я поведу ее этой же дорогой, по этим же доскам, и скажу: «Вот здесь я шла с Мариной Ивановной». И умолкну, вспомнив продолжение.)

— Одному я рада, — сказала я, приостанавливаясь, — Ахматова сейчас не в Чистополе. Надеюсь, ей выпала другая карта. Здесь она непременно погибла бы.

— По-че-му? — раздельно и отчетливо выговорила Марина Ивановна.

— Потому, что не справиться бы ей со здешним бытом. Она ведь

ничего не умеет, ровно ничего не может. Даже и в городском быту, даже и в мирное время.

Я увидела, как исказилось серое лицо у меня за плечом.

— А вы думаете, я — могу? — бешеным голосом выкрикнула Марина Ивановна. — Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?

Я вовсе не думала, что она может. Я просто выговорила вслух — весьма некстати! — постоянную свою тревогу. Я и сама не могла бы — не будь со мною Иды, ее крестьянской выносливости, ее крестьянских умений (Ида была раскулаченная финка из-под Ленинграда). Не будь у меня денег Корнея Ивановича и прочной надежды, что он вытащит нас отсюда раньше, чем Кама станет, — вызовет куда-нибудь, где найдется для меня самостоятельный заработок.

Полминуты простояли мы молча, — Марина Ивановна тяжело дышала после крика — потом двинулись дальше. Мне было стыдно: она так нуждалась в полноте участия! а я, своей мыслью не о ней, причинила ей боль. Мы свернули с набережной в узкую улицу. Нравилось мне это место более других: чище.

— Вот и Бутлерова, — сказала я.

— Какая ужасная улица, — сразу отозвалась Марина Ивановна. — Я не могу тут жить. Страшная улица.

— Хорошо, поищем другую. Но сейчас зайдём на минутку к моим знакомым, Шнейдерам. Посоветуемся. Вам они будут рады, за это ручаюсь. Они уже огляделись вокруг — посоветуют, где искать.

Ручалась я за Шнейдеров — Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму, в одном из туберкулезных санаториев, где умирал — и вскоре умер — мой молодой друг, поэт и критик Мирон Левин. Там лечился тогда и тяжело больной Михаил Яковлевич. (Специалист по кинодраматургии.) Он был чуть не вдвое старше Мирона, а потому и туберкулезный процесс развивался у него медленнее. Там, в уходе за Мироном, мы и подружились. Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем — Паустовского). И Михаил Яковлевич и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же — энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она, вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие. В Нижнем, при пересадке на другой пароход, оказалось, что даже с помощью Иды — она тащила на спине и в руках все наши вещи, да и Люша несла один чемодан — ни я, ни дети не в силах выбраться вместе с толпой и сквозь толпу с парохода на берег. Два потока — выходявших и валом валивших навстречу — крутили нас, толкали, швыряли. Я беспомощно моталась на нетвердых ногах, прижимая к себе Женю и держа за руку Люшу. (Сколько я видела

потом в Ташкенте детей, потерявшихся при таких пересадках! Не под бомбами даже, а попросту в дороге! Станция, вокзал, пристань... Детей, разлученных с матерями на годы, а порой навсегда.) Вот тут и пришла мне на выручку большая, сильная, добрая Татьяна Алексеевна. Хотя она ничего не давала нести своему больному мужу, хотя сама волокла на плечах тяжелый тюк, — она вырвала у меня из рук Женю, вышла на берег, передала его Иде и еще раз успела вернуться на наш пароход и вывести за собой сквозь толпу на берег меня и Люшу. А ведь суда — как эшелоны — двигались в ту пору без расписания, и каждая лишняя минута могла обернуться для нее разлукой с мужем.

И в Чистополе, в заботах о больном, харкающем кровью Михаиле Яковлевиче, она находила время и силы, чтобы забежать к нам и преподнести то мыло, то коробок спичек, то леденцы. Жили Шнейдеры бедно и трудно, надеяться тут на какую-нибудь работу и им было нечего, но я ни разу не слыхала от них ни единого жалкого слова.

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей. Татьяна Алексеевна сразу и не без торжественности поблагодарила меня за то, что я привела к ней столь дорогую гостью. «Всю жизнь мечтала познакомиться с Мариной Цветаевой», — сказала она и точно пароль прочитала строку: «У меня в Москве купола горят»... Освободив Цветаеву от пальто и мешочка и усадив ее за стол, Татьяна Алексеевна спросила:

— Скажите, Марина Ивановна, как вы могли в 16-м году провидеть близкую смерть Блока?

Думали — человек!

И умереть заставили.

Умер теперь. Навек!

— Плачьте о мертвом ангеле!—

Откуда взялось у вас такое предчувствие?

— Из его стихов, конечно, — ответила Марина Ивановна. — Там все написано.

Через десять минут на столе, застланном ослепительно белой наволочкой (в комнате все сверкало, как в хорошей больничной палате: Татьяна Алексеевна, добываясь антисептики, мыла пол и окна ежедневно), на столе стояли: кипящий чайник, аккуратными ломтями нарезанный черный хлеб и, вместо сахара — леденцы. Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив напиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная, светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни. «Ни в какое общежитие мы вас больше не пустим, — говорила она. — Там грязно и тесно. Вы будете у нас чи-

тать стихи, потом обедать, потом спать. Утром пойду с вами вместе искать комнату — поближе к нам, — у меня на примете их несколько. Я здесь уже всех хозяев изучила... Стихи будете нам читать о Блоке, это мои любимые, а потом какие хотите... А найдем комнату — пропишетесь и съездите в Елабугу за сыном».

Марина Ивановна менялась на глазах. Серые щеки обретали цвет. Глаза из желтых превращались в зеленые. Напившись чаю, она пересела на колченогий диван и закурила. Сидя очень прямо, с интересом вглядывалась в новые лица. Я же, глядя на нее, старалась сообразить, сколько ей может быть лет. С каждой минутой она становилась моложе.

— Вы встретили меня с таким благородным радушием, — сказала Марина Ивановна, обращаясь к хозяевам дома, — что я чувствую себя обязанной рассказать вам свою историю.

«Начало неудачное, — подумала я. — Они — как и я — отлично знают, что Цветаева — зачумленная. И не по неведению встретили ее столь радушно».

Новыми для меня в ее истории были: отчетливость в произнесении слов, соответствующая отчетливой несгибаемости прямого стана; отчетливая резкость внезапных движений, да еще та отчетливость мысли, с какой она, судя по ее рассказу, понимала, как жестоко заблуждаются муж и дети, жаждущие возвратиться на родину. Там понимала, каково здесь.

— Сергей Яковлевич принес однажды домой газету — просветскую, разумеется, — где были напечатаны фотографии столовой для рабочих на одном из провинциальных заводов. Столики накрыты тугими крахмальными скатертями, приборы сверкают; посреди каждого стола — горшок с цветами. Я ему говорю: а в тарелках — что? А в головах — что?

Спрашивала она уже не у Сергея Яковлевича, а скорее у нас, и эти настойчивые «что?», нарушая мерность речи, выскакивали из ее уст с оглушительной внезапностью, как из бутылок — пробки. А в будущем — что?

Она досказала свою историю до дня ареста дочери, а затем мужа, то есть до осени 1939 года. Произнесла последнюю фразу скороговоркой и умолкла. И, когда она умолкла, ни один из нас не решился просить о продолжении. Жестокостью было бы заставить ее договаривать.

— Прочитайте стихи к Блоку, — попросила Татьяна Алексеевна.

— Старье. Не хочу. Я вам прочитаю «Тоску по родине».

Я смотрела не на нее, а в окно. Не видя, лучше слышишь.

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой
Брести с кошелкою базарной
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди
Лиц — ошетиливаться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.
Камчатским медведём без льдины
Где не ужиться (и не тшусь!),
Где унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне безразлично — на каком
Непонимаемой быть встречным!

Тут она замолчала. Это «Мне безразлично — на каком» произнесено было с великолепным презрением. Вызывающе. Со страстной надменностью. Стихотворение оборвала внезапно, словно недокуренный окуроч отбросила.

— Не хочу. Простите меня. Я вам вечером почитаю что-нибудь другое, например «Поэму Воздуха». Вы, верно, совсем не знаете моих поэм?

Нет, мы не знали. Что поэмы! В то время мы не знали девяти десятых Цветаевой. Не знали «Стола». Не знали «Куста». Не знали «Попытки ревности». Не знали — совсем не знали! — ее гениальной прозы. Все это, украденное у нас, хранившееся за тридевять земель, на протяжении десятилетий доходило до редких избранных, а в самиздат и в печать начало пробиваться украдкой, урывками лишь во второй половине пятидесятих годов.

И только тогда, в пятидесятых, услышала я конец «Тоски по родине» и поняла, почему в отчаянье, в Чистополе, она не пожелала прочесть нам дальнейшие четверостишия. Ведь там, после всех неистовых отрываний, после всех не, содержится в последнем четверостишии как бы некое да, утверждение, признание в любви.

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё — равно, и всё — едино.
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина... —

если встанет на пути рябиновый куст, то вместе с ним, вопреки всему выкрикнутому выше, встанет и тоска по родине, — та самая, которую она столь энергично и презрительно только что объявила «разоблаченной морокой».

Пока Цветаева читала, я пыталась понять, чье чтение вспоминается мне сквозь ее интонации. Вызов, властность — и какое-то воинствующее одиночество. Читая, щетинится царственным зверем, презирающим клетку и зрителей.

Не обольщусь и языком
Родным, его призывом млечным.
Мне без-раз-лич-но — на каком
Непонимаемой быть встречным!

Вспомнила! Маяковский. Когда-то в детстве, в Куоккале, я слышала Маяковского. Он читал моему отцу «Облако в штанах». И так же щетинился пленным зверем — диким, не усмирленным, среди ручных.

Она обещала почитать еще — не сейчас, а попозже. Условились мы так: сейчас я пойду на телеграф и дам телеграмму в Елабугу ее сыну. Она продиктовала мне адрес и текст: «Ищу комнату, скоро приеду». Потом зайду там общежитие, разыщу там некую Валерию Владимировну (Марина Ивановна ночевала в одной комнате с ней) и предупрежу ее, что сегодня Цветаева ночевать не придет. Пока Марина Ивановна будет отдыхать на раскладушке у Шнейдеров, Татьяна Алексеевна наведается неподалеку к знакомой хозяйке узнать о комнате. А в 8 часов вечера снова приду я — и тогда Марина Ивановна прочтет нам «Поэму Воздуха». Я же прочту последние из мне известных стихов Пастернака. (В Переделкине Борис Леонидович подарил Корнею Ивановичу «Иней», «Сосны», «Опять весна». Я тогда же переписала их в свою тетрадь и, уезжая, взяла с собою.)

На почте телеграмму я отправила быстро, а вот в очереди «до востребования» простояла долго. На моих глазах редкие, редчайшие счастливицы получали треугольник или квадратик, а большинству — и мне — ничего, ни от кого, ниоткуда. Это безвестие, это молчание — оно было красноречивее любой сводки. Ведь не могли же все умереть сразу или все забыть меня сразу! Молчание означало: всюду на нашей земле несмолкаемый грохот. Бомбы, пули, гранаты, орудия, танки.

3

Я вышла с почты, оглушенная неудачей. Я так ждала тогда вестей, а их не было. Я еще не понимала в ту пору, что безвестие — великое благо. Когда я выбралась, наконец, из Чистополя и вести градом посыпались на меня, они были такие: мой младший брат, Женин отец, убит под Москвой. Мой первый муж, Люшин отец, погиб в Ленинграде. Мои киевские родные, спасаясь от немцев, выехали из Киева с последним

эшелоном — иначе погибнуть бы им в Бабьем Яру! — но гибель в виде тифа настигла их в пути: старики умерли на вокзальном полу маленькой железнодорожной станции. Мой Ленинград — обстреливаемый, взрывае-мый — вымерзал, вымирал, превращался в город-морг.

...Покинув почту, я с трудом припомнила, куда собиралась. Да, Марина Ивановна просила зайти в общежитие и там предупредить, что ночевать она останется у Шнейдеров. Но в общежитие мне идти не понадобилось: у дверей почты я встретила Валерию Владимировну и передала ей поручение. Она же в ответ сообщила приятную новость: Зинаида Николаевна Пастернак намерена приобрести у Марины Ивановны за 200 рублей клубки шерсти¹.

Я поплелась домой. Признаюсь, меня туда не тянуло. В Чистополе меня удручала грязь. Нашу комнату мы кое-как обороняли, но двор, но кухня, но хозяйская половина избы! На потрескавшихся от зноя досках забора всегда сидят, лениво перелетая с места на место, жирные зеленые мухи. Ими, словно гнойниками, усеян забор. Во дворе грязь по колено: спасают досточки. Хлев сотрясается: это несчастная грязная корова чешет себе спину о стенки, будто не корова она, а свинья. Хозяйка надаивает молоко в грязный подойник. В кухне висят полотенца — и не какие-нибудь, а вышитые, — но хозяйские сыновья отирают о них не только руки, но, случается, прибегая со двора, и ноги. Обижаться грех: хозяйка дружат с Идой, ласковы с детьми, мальчики угощают Женю и Люшу то морковкой, то репой с огорода, но грязь, грязь наводит на душу тоску и уныние.

Стыдись: ведь это не кровь, а всего только грязь! Черная липкая грязь, а не кровь, уходящая в землю или лужами стынувшая на камнях и асфальте.

Возвращаясь домой, я на набережной увидела старуху. Она стояла крестясь. Я посмотрела кругом: нет, церкви тут нет. Старуха молилась почтовому ящику. Упала перед ним на колени. (Он приколочен к прогнившему столбу.) Сыновья? Четверо сыновей под пулями неведомо где или один-единственный? Она хваталась руками за столб, пытаясь встать. Я помогла ей подняться. Провалившиеся глаза с черными обводинами — глаза, обезумевшие от ожидания. Похожи на те — в тюремных очередях.

Дома — благополучие. Я проглотила холодные макароны. Ида играет с хозяйкой в карты, и Женя, в шерстяных носках и с компрессом на шее, крутится возле. Люша занята штопкой: натянула чулок на большую деревянную ложку — хозяйкин подарок. Мы у ourselves с ней рядом на лавочку. Но пробыли одни мы недолго: Люша издала увидела шагающего к нам Петра Андреевича Семенина.

— Он двухголовый! Мама, смотри! — у него две головы!

¹ Борис Леонидович находился в то время в Москве, а в Чистополь прибыл лишь во второй половине октября 41-го года.

По нашей улице, к нашей избе, шел мой приятель, поэт Петр Андреевич Семьинин, не взятый ни в армию, ни в ополчение из-за болезни глаз. Он нес на плечах своего маленького сына. Опустил Сашу на землю, сел рядом со мною. Кто-то сказал, что я повела Цветаеву искать комнату, и он зашел спросить, отыскалось ли что-нибудь. Я рассказала, как обстоят дела.

— Знаете, на кого вы похожи? — сказала я. — Небритый, загорелый дочерна, да еще в черной рубахе с закатанными рукавами? Вы, когда не сете вашего златокудрого красавца, похожи на ворюгу-цыгана, укравшего городского мальчика. Уж очень красив. Маленький лорд Фаунтлерой — не иначе. Только вот кружевного воротника не хватает и бархатной курточки.

Саша, молча выпросив у Люши деревянную ложку, молча колотил ею по скамье. Красивее ребенка я не видывала. Золотые кудри. Белое нежное лицо. Черные глаза, черные брови под золотыми кудрями и черные ресницы в пол-лица.

Петр Андреевич не улыбнулся в ответ.

— Что, сводка опять плохая? — спросила я.

Он кивнул.

— Такая, как вчера?

— Хуже.

Потом он рассказал мне о заседании Совета эвакуированных — он, оказывается, член Совета и был там. Сначала вызвали Марину Ивановну — она была приглашена заранее — и попросили объяснить, почему она хочет переселиться из Елабуги в Чистополь? Семьинин считал этот вопрос бесстыдным, издевательским. «Ведь мы не следственные органы, не милиция, ведь это уже не вопрос, а допрос! — повторял он мне. — Какое кому дело, почему и где она хочет жить? Марина Ивановна отвечала механическим голосом, твердила одни и те же заученные наизусть слова: «В Елабуге есть только спирто-водочный завод. А я хочу, чтобы мой сын учился. В Чистополе я отдам его в ремесленное училище. Я прошу, чтобы мне предоставили место судомойки...» Она ушла, и мы приступили к обсуждению. Прочли вслух письмо Асеева: поддерживает просьбу Цветаевой. Потом самым мерзким образом выступил Тренев. Сообщил, что у Цветаевой и в Москве были, видите ли, «ижидивенческие настроения»... Да ведь она, не покладая рук, переводила! Потом счел нужным напомнить товарищам, что время, видите ли, военное, а муж Цветаевой, видите ли, арестован и дочь — тоже; и опять — время военное, бдительность надо удвоить, все они недавние эмигранты, муж Цветаевой в прошлом белый офицер. Если правительство сочло нужным отправить Цветаеву в Елабугу, то пусть она там и живет, а мы не должны вмешиваться в распоряжения правительства... Омерзительная демагогия. Меня тошнит до сих пор. При чем тут правительство? При чем — военное время? Это просто Литфонд решил, что Чистополь переполнен, и начал заселять литераторами следующий город... Очень толково возражали Трене-

ву Борис Абрамович Дерман, Вера Смирнова, ну и я сказал несколько слов... Потом проголосовали. Тренев остался в ничтожном меньшинстве, почти все голосовали за.

Петр Андреевич встал и снова поднял Сашу на плечи. Маленький лорд Фаунтлерой ни за что не хотел отдавать Люше ложку — молча, но неколебимо.

Отдал наконец.

Мы с Люшей проводили обоих до угла.

— Хорошо, что вы были там, — сказала я Петру Андреевичу на прощание. — Помогли управиться с Треневым.

— Все равно тошнит, — ответил Семенин.

Посидев еще немного с Люшей, я прихватила стихи Пастернака и отправилась к Шнейдерам. Кроме стихов, я несла Марине Ивановне добрую весть: найдена покупательница на ее клубки. Но у Шнейдеров, куда я пришла ровно в 8, ждал меня, к моему удивлению, неприятный сюрприз: Марины Ивановны там не оказалось. После моего дневного ухода она полежала там, отдохнула, пообедала, а потом заявила вдруг, что ей надо с кем-то срочно повидаться в гостинице. Татьяна Алексеевна ее проводила. К 8 часам Марина Ивановна обещала вернуться и заночевать. «Не заблудилась ли на обратном пути?» — спросила я. «Нет, она сказала, ее проводят».

Ждали мы до половины одиннадцатого. Михаил Яковлевич в пижаме лежал на своей коечке. Температура выше 38. Татьяна Алексеевна раза два выходила навстречу. Я видела, что Михаилу Яковлевичу невмogu: красными пятнами жара пылало изможденное лицо. Мне было пора. После десяти в Чистополе глубокая ночь. Мы условились так: сейчас я уйду, а утром сбегу в общежитие и узнаю: все ли благополучно, воротилась ли туда ночевать Марина Ивановна? И извещу Шнейдеров.

Утром я отправилась рано. На пороге общежития встретила меня та же Валерия Владимировна. Встретила словами:

— А я к вам.

Марина Ивановна ночевала в общежитии. Утром уехала срочно в Елабугу. Решила так: перевезти сына в Чистополь, комнату искать вместе и, найдя, окончить дело с Тверяковой.

«Что ж, это разумно, — писала я Татьяне Алексеевне, посылая к ней Люшу. — Сын лучше, чем мы, поймет, какая комната им нужна».

...Насколько я могу рассчитать, уехала Цветаева из Чистополя в Елабугу 28 августа. А через несколько дней все на той же почте, в очереди к тому же окошечку, услышала я страшную новость: приехал из Елабуги сын Марины Ивановны, Мур, явился к Асееву с письмом и сказал:

— Мама повесилась.

Марина Цветаева покончила с собой, как известно, 31 августа 41-го года.

Я сделала свою запись о встрече с ней уже после известия о гибели, 4 сентября. И четыре десятилетия в ту свою тетрадь не заглядывала. Так, иногда, если заходил при мне разговор о Цветаевой, рассказывала, что вспоминалось. Очень запомнила я мешочек у нее на руке. Я только потом поняла — он был каренинский. Из «Анны Карениной». Анна Аркадьевна, когда шли и шли мимо нее вагоны, сняла со своей руки красный мешочек. У Цветаевой он был не красный, бесцветный, потертый, поношенный, но похожий. Чем-то — не знаю, чем — похожий. В Чистопольской моей тетради, после известия о самоубийстве, так и написано: «Я увидела женщину с каренинским мешочком в руках».

Перечитать старую тетрадь и вспомнить все досконально и по порядку побудили меня два документа. Один напечатанный, другой нет.

Начну с напечатанного.

Попалась мне в руки книга, выпущенная в Париже, под редакцией Г. Струве и Н. Струве в издательстве YMCA-Press «М. Цветаева. Незданные письма». Привожу отрывки из «Записной книжки» Марины Ивановны со страниц 629—631.

«Возобновляю эту записную книжку 5 сент. 1940 г. в Москве. (...)

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — криюк...»

Тут остановимся. Повторим: «...я год уже (приблизительно) ищу глазами — криюк...»

Запись сделана 5 сентября 1940 года. Что же такое — год назад? 27 августа предыдущего года была арестована дочь Цветаевой, Ариадна, Аля, а 10 октября — муж, Сергей Яковлевич Эфрон. Вот с какого времени она начала искать глазами криюк. Со времени этих двух разлучений. Увели дочь — в тюрьму, в лагерь, в ссылку. Увели мужа — на казнь.

Читаем дальше:

«(...) Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь».

Прочитав эти слова «как я ничего не могу», я отложила книгу и прислушалась. Из дальней дали донесся до меня тот, прозвучавший на Каме, сорокалетней давности, крик:

— А вы думаете, я — могу?

Какая она была мужественная и как много она могла — не требуется

доказывать: перед нами ее могущественная поэзия, ее проза, вся ее мученическая, мужественная жизнь.

Но и богатырским силам приходит конец. В эмиграции она была бедна и одинока, но ее хоть печатали. Дома же, кроме переводов, не напечатали после ее возвращения почти ничего. А конец — конец силам наступил, я думаю, осенью 1939 года, и мои скудные воспоминания следовало бы озаглавить не «Предсмертие», но «После конца».

После ареста Али, после гибели мужа силам уже пришел конец, а тут после конца — война, эвакуация, безысходная нищета, новые унижения, Елабуга, Чистополь...

«Почему вы думаете, что жить еще сто́ит? Разве вы не понимаете будущего?»

«Нет будущего. Нет России».

«Я когда-то умела писать стихи, теперь разучилась...» «Какая страшная улица...» «Я ничего не могу...» «Мыть посуду я еще могу».

...Второй документ не напечатан. По цепочке смертей и неожиданных наследований, лег на мою ладонь листок. Легонький листок бумаги — даже не листок — половина листка, вырванного из школьной тетради. Резким, отчетливым, размеренным, твердым почерком, словно пирающим ничтожную бумажонку, выведено на листке:

«В Совет Литфонда.

Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда.

М. Цветаева

26-го августа 1941 г.»

Столовая открылась в ноябре. Меня в это время в Чистополе уже не было. Кто получил место судомойки, на которое притязала Цветаева, мне неизвестно.

*Октябрь — декабрь 1981 г.
Переделкино*

СВЕРСТНИКУ

С каждой новой могилой
Не смирение, а бунт.
Неужели, мой милый,
И тебя погребут?
Четко так молоточки
Бьют по шляпкам гвоздей.
Жизни точные точки
И твоей и моей.
Мы ведь сверстники, братство
И седин и годин.
Нам пора собираться:
Год рожденья один.
Помнишь детское детство?
Школа. Вместе домой.
Помнишь город в наследство —
Мой и твой, твой и мой?
Мерли кони и люди,
Глад и мор, мор и глад.
От кронштадтских орудий
В окнах стекла дрожат.
Тем и кончилось детство.
Ну а юность — тюрьмой.
Изуверством и зверством
Зрелость — тридцать седьмой.
Необъятный, беззвучный,
Нескончаемый год.
Он всю жизнь, безотлучный,
В нашей жизни живет.
Наши раны омыла
Свежей кровью война.
Грохотала и выла,
Хохотала она.

...О чистые слезы разлуки
На грязном вагонном стекле.
О добрые, мертвые руки
На зимней промерзшей земле...

«Замороженный ад» —
Город-морг, Ленинград.

Помнишь смерть вурдалака
И рыдания вослед?
Ты, конечно, не плакал.
Ну и я — тоже нет.
Мы ведь сверстники, братья.
Я да ты, ты да я.
Поколению обьятья
Открывает земля.
Поколению повинных —
Поголовно и сплошь.
Поколению невинных —
Ложь и кровь, кровь и ложь.
Поколению забытых
(Опечатанный след).
Кто там кличет забытых?
Нет и не было! Нет!

Четко бьют молоточки.
Указанья четки:
«У кого там цветочки?
Эй, давайте венки!»
В строй вступает могила.
Всё приемлет земля.
Непонятно, мой милый,
Это ты или я.

Март — апрель 1984
Переделкино — Москва.

* * *

Мы расскажем, мы еще расскажем,
Мы возьмем и эту высоту.
Перед тем, как мы в могилу ляжем,
Обо всем, что совершилось тут.

И черный струп воспоминанья
С души без боли упадет.
И самой немоты название,
Ликуя, рот произнесет.

1944

* * *

Слово «мир» — а на душе тревога.
Слово «радость» — на душе ни звука.
Что же ты, побойся, сердце, Бога,
Разумеешь только слово: «мука»?

Все стучишь: страшна зима в Нарыме.
Бухенвальд, Тайшет, Норильск, Освенцим.
Если б можно было память вынуть,
Не рассказывать про это детям!

Но без ладанки стучится в грудь —
Память, трепет, пепел: не забудь!

май 1945

* * *

И вот на посмешище мира,
Смущенье свое не тая,
Выходит не муза, не лира,
А жизнь прожитая моя.
Ее подчистую украла.
Ее по листочку сожгли.
Не в карты ль меня проиграли?
Не химией ли извели?

ДОМ

I

Дом притворился обитаемым —
Притворный дом, обманный дом.
Давно покинутый хозяином,
Когда-то обитавшим в нем.
Мне просто не хватает мужества
Под вечер музыку включить.
Она сосредоточье ужаса,
С ней рядом невозможно жить.
Она поставит под сомнение
Все, даже память о былом.
И рухнет он в одно мгновение —
Объятый музыкою дом.

май — декабрь 1975

II

В этом доме я могу повеситься
На гвозде любимой фотографии.
Каждая ступенька этой лестницы
Пострашнее вашей грозной мафии.

1975

III

Ночные поиски очков
Посреди подушек жестких.
Ночные призраки шагов
Над головой — шагов отцовских.
Его бессонницы и сны,
Его забавы и смятенья
В причудливом переплетенье
В той комнате погребены.
А стол его уперся в грудь
Мою — могильной плитой,
И мне ни охнуть, ни вздохнуть,
Ни встать под тяжестью такою, —
Под бременем его труда,
И вдохновения, и горя,

И тех легчайших дней, когда
Мы, босиком, на лодке, в море.

1980

IV

Я еще на престоле, я сторожем в доме твоём.
Дом и я — есть надежда, что вместе мы, вместе умрем.

Ну, а если умру я, а дом твой останется жить,
Я с ближайшего облака буду его сторожить.

1983

СОДЕРЖАНИЕ

Открытые письма	3
Предсмертие	20
Стихотворения	43

ЧУКОВСКАЯ Лидия КОРНЕЕВНА

СВЕРСТНИКУ

Редактор П. В. Катаев

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 28.11.90. Подписано к печати 7.01.91. Формат 70×108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 2,98. Тираж 97 000 экз. Зак. № 3105. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Лени-
на издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**ПОМЕСТИТЕ СВОЮ РЕКЛАМУ
НА ОБЛОЖКЕ
«БИБЛИОТЕКИ «ОГОНЕК» —
И О ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ УЗНАЮТ
МНОГИЕ И МНОГИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ**

**ВАШИ ПРОЕКТЫ ОБРЕТУТ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ**